

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



# РОМАН №17 ГАЗЕТА

**Сергей Есин** / Между прошлым и настоящим

**90**  
лет







ЕСИН Сергей Николаевич

родился в 1935 году в Москве. Закончил филфак МГУ и Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Сергей Есин — автор романов «Имитатор», «Сам себе хозяин», «Временщик и временитель», «Соглядатай», «Казус, или Эффект близнецов», «Гувернер», «Затмение Марса», «Смерть титана» и др. Отклик в прессе и у читателей нашли публицистические книги «Дневники ректора», а также книги о писательском мастерстве.

С 1992 по 2005 Сергей Есин — ректор Литературного института им. А. М. Горького. В настоящее время — заведует кафедрой литературного мастерства в этом институте. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Москве.



## Наш юбилей в Госдуме

**В** июле этого года в Государственной Думе прошла выставка, приуроченная к нашему юбилею: «РОМАН-ГАЗЕТА» — 90 ЛЕТ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

В подготовке экспозиции решающую поддержку редакции оказала партия «Справедливая Россия». Впрочем, сотрудничают «справедливороссы» с журналом уже давно. В частности, третий год ими проводится конкурс молодых прозаиков, поэтов и публицистов под девизом «В поисках правды и справедливости», а произведения лауреатов печатаются в целевых номерах «Роман-газеты» расширенным тиражом.

Открыла выставку, на которой были представлены сотни журналов (всего же на сегодняшний день выпущено около 1800 номеров), первый заместитель Комитета по культуре Елена Драпеко.

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высоко оценил творческий путь «Роман-газеты», отметил, сколь гениальна была задумка ее создателей: на дешёвой бумаге многомиллионными тиражами печатать великолепные произведения. Сказал он и о необходимости государственной поддержки народного журнала, поскольку именно здесь печатаются лучшие литературные новинки, а талантливые писатели России имеют «выход» к самой обширной читательской аудитории.

С сердечными поздравлениями коллективу и редколлегии журнала выступили руководители парламентских фракций КПрФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский.

Личной «читательской» историей поделилась с присутствующими на открытии выставки Ольга Мироновна Зиновьева, руководитель Российско-Баварского исследовательского центра имени А.А.Зиновьева. «Роман-газета»

рассчитана на людей думающих и много читающих, подчеркнула она в своём выступлении.

Главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов поблагодарил за поздравления и уточнил, что юбилейная выставка еще один повод привлечь внимание общества и государства к состоянию художественной литературы в России. «Толстые журналы переживают большой кризис, и если государство им



Елена Драпеко, Юрий Козлов, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов на открытии выставки

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

## РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель  
ООО «Роман-газета»

Главный редактор  
Юрий Козлов

Редакционная  
коллегия:

Дмитрий Белюкин  
Юрий Бондарев  
Семен Борзунов  
Алексей Варламов  
Анатолий Заболоцкий  
Юрий Коннов  
Владимир Личутин  
Юрий Поляков

Ответственный  
редактор  
Елена Русакова

В оформлении  
использованы  
архивные фотографии  
Старой Москвы

Права  
на использование  
товарного знака  
«Роман-газета»

принадлежат  
ООО «Роман-газета»  
© ООО «Роман-газета», 2017  
Все права защищены

Подписаться  
на журнал «Роман-газета»  
можно в отделениях связи  
и через Интернет:  
[www.gazety.ru](http://www.gazety.ru)

Подписные  
индексы издания:

в каталоге агентства  
«Роспечать»  
70782 на полугодие,  
71752 на год;

в объединенном  
каталоге

«Пресса России»  
38915 на полугодие;

в электронном каталоге  
«Почта России»  
П1526 на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

2017 №17 /1789/ Основана в 1927 г.

Сергей Есин

# Между прошлым и настоящим

*Две повести*

## Мемуары сорокалетнего

Мама умерла ночью. Ее обрядили в одежду из приготовленного ею узелка и положили на стол. И тут я впервые понял, что остался на свете один. Всё: детство, юность, даже средние, но самые спокойные годы — кончилось. Дальше уже не к кому прийти, чтобы тебя поняли, простили и защитили. Ты один, и теперь уж безнадежно и безвозвратно взрослый...

Подписывая в эфир очередную передачу, я обязательно бросаю взгляд в окно. Выработался даже определенный механизм поведения: на зеленоватой бумажной папке под напечатанным текстом «Передать в эфир разрешаю» я ставлю свою подпись: «Заведующий отделом Воронов», — кладу на письменный стол авторучку и одновременно левой рукой нажимаю на кнопку звонка. Сразу же входит секретарша Наташа. Правой рукой я подаю ей «эфирную» папку и тут же на своем крутящемся кресле разворачиваюсь влево, чтобы взять очередную. В этот момент и наступает сладостная и тревожная пауза в работе. Я тяну левую руку за не прочитанной еще передачей, а сам гляжу и гляжу в окно. Иногда левая рука, как лягушка, прыгает по столу, ищет папку. А за окном, через двор, — задний фасад двухэтажного старинного особняка. Верхнее окно — Раиса Михайловна и ее сын Даня; огромное итальянское окно под ними — Эдька Перлин; еще ниже, в подвале, — Абдулла, мой приятель. Следующий по вертикали ряд — бабка Серафима Феокистовна, Мария Туранюк, в подвале тетя Паша Еденеева. Еще ряд: Елена Павловна, старая, ныне уже покойная художница; окном ниже Зойка с любовью к немецкой философии и Достоевскому — ей-то я, наверное, и обязан, что сижу в этом кресле. А взгляд, как рентген, режет дом, ведь есть еще передний фасад: Витька Милягин, Сильвия Карловна со своим незаметным мужем, многочисленные Панские, Анька с ее ослепительными коленками и другие, которых я знал хуже и чья жизнь тогда мне казалась таинственной и значительной.

...Левая рука наконец-то нащупала очередную папку с передачей. Подтаскивая ее к себе, не глядя открываю и бросаю последний взгляд на дом. Прямо передо мною мое бывшее жилье: два полукруглых окна почти под крышей, за которыми сейчас никто не живет.

Хватит мечтать. Пора браться за дело. Чем мы сегодня порадуем радиослушателя?..

## История с пожаром и взрывами

В восемнадцать лет я уже узнал крепкую тяжесть заработанного рубля.

Как же я тогда попал на «Мосфильм»? Я только что окончил школу, с треском провалился в Институт востоковедения, и тут мне позвонили со Студии научно-популярного фильма. Но в массовке кино я крутился еще раньше, до «новых денег», потому что четко помню: платили не три рубля за съемочный день, как сейчас, а тридцатку. Мама болела, у брата была уже своя семья, да с него и не разживешься. Бегал по утрам с сумкой, разнося газеты, тянул лямку в школе рабочей молодежи, а мать очень не хотела, чтобы я шел на производство: бросишь учиться... И кто-то мне сказал, что есть такой приработок — «Мосфильм». Деньги были очень нужны. К этому времени вернулся отец и, ожидая пересмотра дела, жил месяц у нас.

Мой заработок в то время был основным в семье. Вот написал слово «семья» и засомневался. Была ли семья?.. Но на деньги, которые я приносил домой, жили трое.

На «Мосфильме» уже в то время я был человеком своим. Моя фотография лежала в актерском отделе. Я знал ветеранов массовки — бригадиров, помрежей, был со всеми в добрых отношениях, и они меня совали везде, где шестнадцатилетний пацан, одетый в платье любой эпохи, мог проторчать целый день, почитывая книжку или учебник.

В тот день, когда позвонили в дверь, отец собирался в Брянск. Вещи были разобраны, лежали на виду.

Отец заметался по комнате, распахивая свертки под кровати, а потом заскочил за перегородку. После этого мать откинула крючок на двери.

— Диму к телефону, — раздался голос Раисы Михайловны.

— Дима, тебя, — облегченно сказала мать, не переступая порога.

Известия по телефону поступили почти невероятные. Приглашали сниматься на роль в настоящую кинокартину. Правда, на Студии научно-популярного фильма, правда, фильм учебный, для Советской Армии, правда, широко экраном он не пойдет. Но ведь это занятие, и, значит, надолго, почти на год. Уже разнеженная душа сразу представляет: афиша с названием, ажитация знакомых девочек, и тут же мыслишка: а может быть, с этого учебного фильма и пойду, начну сниматься, здесь и лежит вектор моего счастья. Но все эти сладкие мечты от себя надо гнать: путь мой лежит не здесь.

Полгода наслаждаюсь сытой, определенной по контракту свободой... Кино захватило в свои бархатные лапы и потащило по лунным местам Крыма.

В Ялте стоит царственно-ранняя весна. С пушечным громом, заливая набережную, бьет в парাপет резвая волна. Соленая изморось садится на олеандры и магнолии. Ялта почти пуста. На набереж-

ной — редкая цепочка кутающихся в одинаковые плащи прохожих, в пустом ресторане — расторопность конкурирующих официантов, уставших от ожидания клиентов: только сел за столик, а работник общепита уже трусит к тебе с развернутой картой меню. А еще гостиница: хороший номер с ванной и видом на море, деревянная кровать с пружинным матрасом. Это после московской сутолоки и стеснений... Ресторан, ванна с горячей водой, Крым, просторная кровать — все это навалилось на меня в восемнадцать лет.

Основной задачей было не показать, что все это мне впервые.

Мы снимались под Ялтой. Горел какой-то склад. Пиротехники подпаливали смрадные куски пакли; громыхали, вспыхивая, маленькие взрывы, — рвался порох в небольших резиновых пакетиках, я полз по крыше склада, подсвеченный сбоку веселым светом софитов, а сверху, несмотря на холодный ветер, меня еще поливали из шлангов пожарники — героизм, как и положено, должен совершаться в назидательной обстановке природного возмущения. Снизу меня подбадривали:

— Давай, давай, Дима, дыши прерывистой. Так, хорошо. Теперь взгляни направо. Хорошо. Сожми зубы. Тебе тяжело!.. Прекрасно... Пиротехники, взрыв! Да ближе вы, черти!

— Опалим мы его, Иван Федорович, — басит пиротехник.

На своей героической крыше под потоками ледяной воды с нетерпением ожидаю конца экзекуции.

— Ничего с ним, красавчиком, не сделается. Выживет, молодой еще, — подбадривает пиротехников режиссер и снова мне: — Глубже дыши. Ты же, дубина, борешься со стихией. Склад, того и гляди, взорвется. Где у тебя страх? Да лейте на него. Держите ветродуй на актере. Дима, Дима, тебе должно быть трудно! Разве можно быть таким бездарным? Неужели ты собираешься стать актером? Ну, напрягись, дорогой, подыши поглубже, черт возьми. Да чтобы грудь ходила ходуном.

Лежа на мокрой крыше, я слал проклятия на голову десятой музы в лице режиссера-постановщика. Если бы я умел зарабатывать деньги другим путем! Но пока мне оставалось только терпеть. Но и терпению, как известно, есть конец. И, видимо, замечание Ивана Федоровича о моей бездарности меня захватило, потому что законное чувство ненависти к моему мучителю, мгновенно обуяв меня, прокатилось конвульсиями по всему телу и застыло корявой отвратительной маской на лице. И в тот момент режиссер крикнул:

— Молодец, красавчик! Глазами поблести, глазами. Хорошо. Держи так. Мотор. Хлопушка.

Под моим носом помреж дернулся со своим хлопающим комбайном.

— Держись, красавчик, — порадовался режиссер. — Так! Пиротехники, взрыв! Прекрасно!.. Выключай софиты.

Я сполз со своей верхотуры, вытирая с лица куски сажи и отряхивая пепел с бровей.

Тут же на меня накнулись — пример в надежде убедиться, что от моей шевелюры еще что-то осталось и ему не придется сооружать мне до конца съемок паричок, и помреж, в реестре хлопотливых обязанностей которого было и мое здоровье. Я долго вырывался у них из рук, но наконец, смазав вазелином закопченный кусок моей кожи, столь недавно называвшийся лицом «красавчика», и залив мне в пасть сто граммов водки, они удалились.

— Да непьющий я, — отбивался я от них. — Меня от водки воротит.

— Все пьют, — нравовали меня два старших товарища. — Одна сова не пьет, да и то потому, что днем она спит, а ночью магазины закрыты.

Обсушенный чьими-то радивыми руками, закутанный в казенный тулуп, пьяный и бессмысленный, я очутился в автобусе. Мы едем в Ялту, в гостиницу, оставив местного инвалида сторожить наш обгорелый съемочный объект.

В автобусе тепло. Сквозь дремоту, приоткрывая на ухабах разморенные веки, я вижу, как мимо окон проносятся ветви деревьев, ограды и дворцы санаториев, осколки моря в обрамлении пустынных пляжей. Мне уютно. Отходит в сторону досада на режиссерскую ругню и мою актерскую недогадливость. Ведь не сладко, когда тебя не только обзывают бездарным, но ты и сам чувствуешь себя неспособным к актерскому делу. Всё отодвигается в мареве усталости. И тем не менее что-то меня беспокоит. С чувством тревоги снова открываю глаза и встречаю любопытный назойливый взгляд.

Это Марина. Младшая дочка нашего крикливого режиссера.

Она прилетела в Ялту несколько дней назад. Ее все ждали, говорили о ней в съемочной группе. Я знал, что за Мариной посылали в Симферополь машину — старенькую «Победу». Я видел из окна гостиницы, как она приехала. Из машины вышла девушка моего возраста в розовом строгом костюмчике. С достоинством подождала, когда шофер вынесет чемоданчик. Потом вышел из вестибюля ее отец. Подставил для поцелуя одну щеку, другую. И на меня дохнуло правильным семейным воспитанием, режимом, завтраком, обедом и ужином в точно назначенное время, проводами в школу и родительскими встречами после уроков — всем тем сладко-домашним, чего я был с детства лишен.

Но вернемся в маленький автобус, спешащий к Ялте.

С этого взгляда, с нескольких слов, оброненных в тряске на ухабах, и началась наша дружба, вернее, маленький роман.

Марина впервые показала мне дом, который можно было назвать интеллигентным. Сам уклад жизни в этом доме, интересы, разговоры, которые велись, — все это было для меня новым. Впервые именно здесь я понял значение для человека среды,

внешних импульсов духовного развития. И в этом доме, где, кстати, хорошо и сытно кормили, я познакомился с книгами Ромена Роллана. С удивительным строем духовного начала у героев этого писателя. Понял истинность и необходимость тех борений души, которые до глубокой старости формируют и заново переформируют человека.

И серьезное, вдумчивое чтение пришло ко мне в двухэтажном особнячке, который жил любопытной жизнью, а до этого я жил в другом доме.

### Рассказ о кавалерийской сабле

До особнячка я жил еще в двух домах. Вернее, по семейным рассказам, домов было больше и стояли они не только на московских улицах: как, наверное, любая семья в 30-е годы, моя семья тоже кочевала, и мне довелось побывать и в Хакасии, почти на границе с Монголией, и в Сибири, и где-то под Воронежем, на станции Морозовская. Но всего этого я не помню и знаю лишь по рассказам. Но вот два московских дома, в которых мне пришлось пожить до «особнячка», я помню отчетливо. И каждый раз, бывая на улице Карла Маркса, идущей от Земляного вала к Разгуляю, либо в Померанцевом переулке, возле Кропоткинской, я всегда нахожу окна наших давних квартир, и каждый раз меня удивляет, что в этих квартирах сейчас другие люди, они живут-поживают, может быть, даже счастливы, дома стоят себе и поблескивают окнами, а прежних жильцов уже нет. Нет и моей мамы. Как счастье, вспоминая, как после работы ездил к ней на Ленинские горы, делал ей компресс, готовил еду, а уже потом ехал домой. Меня всегда ужасало: лежит она, бедная, в своей квартире одна, целый день одна и, понимая мою занятость, даже боится мне лишний раз позвонить; если станет совсем плохо — переживается. И так день за днем, разве что изредка среди дня зайдет старший брат...

От дома на улице Карла Маркса в памяти осталось радостное утро, прохладное и веселое, когда не надо было идти в детский сад. Окна были открыты. Из круглой тарелки громкоговорителя звучала музыка. Встав коленями на табуретку, я свесился через подоконник — по свежешелой улице Карла Маркса шли люди с красными флагами и бумажными цветами, удивительно прекрасными, почти такими же нарядными, как глиняные и деревянные поделки, которые продавались на Крестьянском рынке — меня изредка туда брала с собой няня.

Шли люди веселые, в белых рубашках и в начищенных зубным порошком белых ботинках — это было Первое мая.

От дома на улице Карла Маркса сохранились и четкие воспоминания о дне 22 июня 1941 года. Да почему бы им и не остаться, ведь было мне тогда уже пять лет. Все запомнилось до деталей. Солнечный день, трамвай, гудящий под окном, первые в моей жизни сшитые мамой длинные брюки. В тот день на

обед варили необычный борщ, варили его с утра в большой зеленой эмалированной кастрюле. Когда мы сели за стол, начал свою речь Молотов. Я вслушивался в непривычные для радио того времени живые, неактерские интонации выступавшего человека. Вера, наша домработница, внесла зеленую кастрюлю. В этот момент отец сказал: «Война!..»

Тут Вера и выронила кастрюлю из рук.

Помню еще вид из другого окна нашей комнаты — квартира на улице Карла Маркса была хотя и кооперативная, но коммунальная, и моим родителям принадлежала лишь комната, в которой спали мы вчетвером, а Вера спала на раскладушке в ванной комнате, — так вот помню низенькие домики и много старых деревьев, отступающих к Гороховскому переулку, где сейчас Институт геодезии.

И вокзал помню, с которого мы с мамой уезжали в эвакуацию. Настроение у меня было прекрасное. Мама и моя Вера, люди, которых я любил, были со мною; правда, как помеха воспринималось присутствие старшего брата, а расставание с отцом меня не очень волновало. Я его тогда не любил, и меня раздражали его ласки и его поцелуи.

Я помню кусок влажного перрона — шум и крики и залитые слезами глаза взрослых. Они плачут? Отчего? Этого я понять не мог.

Эвакуация на родину матери в Рязань, в деревню Безводные Прудины — огромная веха моей жизни; все это особенностями памяти привязано уже к квартире в Померанцевом переулке — из деревни в конце 1942 года отец привез нас именно сюда.

К отцу я никогда не был привязан. Может, это объясняется тем, что он почти постоянно был в разъездах и я не успевал к нему привыкнуть. А может быть, я слишком рано, еще в детстве, почувствовал его фанфаронство, самомнение и шумливую активность, которые мне и позже претили в людях.

Не исключено, что неприязнь к отцу была связана и с моей любовью к матери, которую он, по моему мнению, обижал.

Самые лучшие мои воспоминания связаны с мамой. И уже в детстве меня охватывало чувство жалости, когда я глядел на ее прекрасное лицо. Будто предвидел ее дальнейшую нелегкую судьбу.

Возможно, отношение к матери связано у меня с одним воспоминанием, поразившим детскую душу: мне тогда было годика четыре, и я впервые испытал сладость думания, сострадания и наслаждения тем, что я думаю.

Видимо, в то время я болел, был сбит режим, и поэтому я неожиданно проснулся среди ночи. Я открыл глаза и увидел тихую комнату, прикрытую газетой лампу на обеденном столе и гладко причесанную голову мамы, склонившуюся к книге. И тогда я внезапно сопоставил — наверное, впервые в жизни сопоставил — два поразивших меня представления: сейчас уже очень поздно — ночь! И второе: я-то сплю, мне тепло и уютно, а мама одна сидит и работает. И тогда мне стало жал-

ко маму. Глядя на ее напряженно склонившуюся голову, вслушиваясь в тяжелую тишину ночного дома, я заплакал. Мама тут же подошла ко мне, начала меня целовать, успокаивать, спрашивать, что болит, что беспокоит.

Но я не сказал ей, хотя мне и хотелось, что плачу из-за ее одиночества; я понял: этого делать нельзя, мне надо напрячься и не говорить маме, как мне жалко ее, я понял, что необходимо сделать усилие и промолчать.

И я промолчал. И тут же я почувствовал сладость от этого впервые сделанного нравственного усилия.

В отце — в тех случаях, когда он появлялся в доме и нарушал нашу с мамой тихую и спокойную жизнь, — меня корбило всё. Его привычка ходить по дому в одних трусах, легкомыслие в разговорах. Я не мог привыкнуть к отцу, сторонился его. И я ему, видимо, тоже был чужим. Отец больше любил старшего брата Анатолия. Помню одно его высказывание, которое потрясло меня еще и тогда, до войны: «Детей мне не жалко, мы с мамкой новых наживем, а вот если она умрет...» Это должно было внушить моей матери мысль о безоговорочной и вечной любви отца к ней. Наверное, и маму, которая отца любила, это высказывание не умиляло.

Еще в детстве я всегда удивлялся, как взрослые умные люди всерьез принимают отца. Мне казалось, что вся его натура очевидна, лежит на поверхности, однако отец как-то успешно служил и пробивался по должностям. Правда, с какой-то фатальной неизбежностью очередное отцовское начинание после двух-трех лет взлета оканчивалось снятием с работы, переводом либо иной административной неприятностью. Раньше я думал: отца опять «раскусили»; теперь понимаю: он «срывался». Ему надоедало тащить служебную лямку, и дело, брошенное на самотек, так же, как неаккуратно кинутое при разгрузке бревно, другим концом било по грузчику.

Отец, как мне кажется, не был приспособлен к методической и повседневной работе. Он оставался человеком блеска, порыва, оаций. Шурануть отстающий участок, вдохновить, подтолкнуть, снять стружку — вот его стихия, но не кропотливый и скучный ежедневный труд.

Во всех его жизненных начинаниях был скорее импульс, нежели трезвая обдуманность.

Помню, как внезапно на полуторке из Москвы приехал он к нам в деревню, в эвакуацию. То не писал, не помогал, хотя, наверно, сумел бы это сделать, а тут прилетел на военной машине, проскрипел офицерскими ремнями, проблестел светлыми пуговицами, выпил с председателем и, сгребя всех нас в кузов полуторки, повез в Москву без обязательного в то время пропуска — повез, потому что по своему легкомыслию и нахрапу своевременно не провел через канцелярию нужных бумаг, а когда было уже время уезжать, оказалось некогда. В те времена отец служил в военной прокуратуре.

Из Рязани мы вернулись в Москву не на старую квартиру; в мою жизнь вошел новый дом в Померанцевом переулке и новый двор. Был конец 1942 года.

Я не могу сказать, что почувствовал войну. Голод, неухоженность, рваная одежда — все это для меня приметы 1945 и последующих годов. Взрослые — и в первую очередь матери — делали все, чтобы оградить меня и моих сверстников от лишних трудностей военного времени. Я вспоминаю и мену вещей на продукты в эвакуации, и распродажу последних маминых платьев уже в Москве.

Эпиграфом к одному моему рассказу я поставил фразу, пометив ее «Из письма»: «...Мне часто говорят: ты из поколения, которое война обошла стороной. Но я вспоминаю военную голодовку и ловлю себя на том, что в гостях стесняюсь досыта есть». Фраза эта очень личная, истоки переживаний, родивших ее, — сорок пятый, сорок шестой, сорок седьмой годы.

Отец принадлежал к той породе людей, для которых война стала их жизненным пиком. Именно в сорок первом году он, юрисконсульт одного из московских наркоматов, стал сначала военным юристом, а потом довольно крупным чином военной прокуратуры. Он был человеком честным, большой личной силы и храбрости. Но война, все этические допуски, порожденные ею (впервые у отца в жизни оказалось привилегированное положение), всё это окончательно развило в нем хвастливость, шапкозакидательство, беззастенчивую вседозволенность. В октябре 1941-го — а это самые критические для Москвы дни войны, когда со своих «нп» немцы видели московские силуэты, — вместе с прокуратурой, вооруженные пистолетами, военные юристы стояли у московских застав, готовые на самом последнем рубеже поменять свою жизнь на победу. И отец был с ними. Как говорили его товарищи, он всегда был очень храбрым человеком. Но, испытав свое мужество, доказав себе и окружающим, что за Родину он смог бы отдать жизнь, отец решил, что он безнаказан, решил, что и Родина ему что-то должна.

Наш образ жизни в новой квартире после эвакуации совсем не напоминал довоенное жилье. Вместо одной комнаты у нас была квартира, начали появляться гости. Видимо, стала чуть лучше одеваться мама, а на отце был — по самой изысканной военной моде — полковничий китель, сшитый у лучшего московского портного.

В то время жилья не строили. Но существовали жители разбомбленных домов, возвращающиеся из эвакуации. Отец, в порядке надзора, был занят разбором сложных конфликтных дел эвакуированных. Многие из них в силу разных инструкций теряли право на жительство, другие приезжали в уже занятые квартиры. Среди этих людей были известные писатели, ученые, артисты. Надо сказать, что отец действительно, как и все в войну, работал день и ночь. И люди, которым он помог, в силу естественной отзывчивости человека к доброте и вниманию, сара-

лись его отблагодарить. Рассказывали, как отец разыскал и взял под стражу одного прыткого просителя, «забывшего» у него в кабинете саквояж, набитый пачками сторублевок. Пытались дарить ему и картины Айвазовского, хрусталь, предлагали старинную — тогда она, правда, не была в моде — мебель.

Ему было приятно, когда его dobroхоты дарили маме цветы или хорошую книгу. Он мог еще сходить в гости, откликнуться на призыв хорошего ужина. У отца создавалось ощущение, что это делается исключительно из-за его личных достоинств. За столом он стал позволять себе говорить чуть громче и больше, чем полагалось. Но что он мог наболтать, он, человек, в четырнадцать лет ставший красноармейцем, а в двадцать два прокурором на Дальнем Востоке?

Что мог позволить себе лишнего он, собственно-ручно расстрелявший какого-то родственника, примкнувшего к контрреволюционному мятежу?

Отца арестовали за самоуправство и нарушение соцзаконности, которое он допустил еще в середине лета сорок первого, вывозя сейфы военной прокуратуры откуда-то из-под Вязьмы. Без свидетелей, в кузове грузовой машины, он расстрелял своего помощника. Об этом он сам составил рапорт. Но после того как в сорок третьем он чуть не застрелил предпримчивого просителя жилплощади, выложившего перед изумленным прокурором золотой портсигар, этот рапорт снова всплыл. И только в пятьдесят втором — пятьдесят третьем годах, когда оказались разобранными некоторые архивы фашистской разведки, стало документально ясно, что в кузове автомашины, едущей по лесной дороге, отца могли вербовать и действовал он в экстремальных условиях.

Однако к этому времени к его проступкам пристроились и другие прегрешения. И до сих пор я люто ненавижу в людях хвастливость, переоценку своего личного значения, горлопанство, стремление прославиться сомнительным анекдотом.

Как я уже сказал, отец мог и не отказаться от небольшого подарка, не несущего материального, денежного обеспечения. Один раз — я помню это еще по его рассказу — друг моего отца притащил в прокуратуру кавалерийскую шашку, изъятую при обыске у какого-то бандита. Отцу она очень понравилась. Он проводил ногтем по лезвию шашки, цокал языком, примеривался к рукоятке. И тогда его друг, не очень-то согласуя свой поступок с существующими правилами, воскликнул: «Да возьми ты ее, Василий, себе, повесишь дома над тахтой».

Дома отец долго носился с этим приобретением, к большой радости старшего брата. Над тахтой шашку мать вешать категорически запретила: дети достанут, обрежутся. По этой же причине не прошла и другая легкомысленная идея отца. В то время по Москве ходили разные слухи о цыганах, которые сначала стучатся в дверь, вызывая, кто дома, а потом могут и обчистить квартиру, о водопроводчиках с агрессивнo-садистскими комплексами, да вообще



другие беспокойные слухи по стереотипу: «Она открывает дверь, а он ее топором (напильником, трубой, велосипедной цепью и т. д.)». И вот, видимо базируясь на этих слухах, отец предложил фантастическую идею: «А если нам, Ниночка, повесить саблю на гвоздик в прихожей? К тебе кто-нибудь стучит, а ты снимаешь саблю и плашмя по голове». — «Глупости все это, Василий», — сказала мать.

На этом история кавалерийской шашки и заканчивается. Она долго пылилась, спрятанная от детского взгляда за буфетом, а потом ее нашли во время обыска у нас дома. Уже когда обыск закончился, часов в одиннадцать дня я высунулся вместе с братом из окна на кухню и увидел: два усталых следователя, не торопясь, идут к ожидающей их машине. Из набитого портфеля одного из них, прихваченная сверху кожаным клапаном, торчит кавалерийская шашка.

...В ту ночь я просыпался дважды. Первый раз ко мне нагнулась мать, осторожно, вместе с одеялом подняла меня и тут же передала в чужие руки. Я открыл глаза — горел верхний свет. Чужой человек с добрым лицом, одетый в такую же габардиновую гимнастерку, что и у моего отца, улыбнулся мне и, умело согнув руку в локте, чтобы у меня не провисала голова, осторожно прижал меня, спящего, к груди. Сквозь несхлынувший сон я услышал, как другой человек перетряхнул простыни на диванчике, где я спал, потом открыл крышку и покопался внутри, среди зимних вещей, пересыпанных махоркой и нафталином. Потом я услышал, как мама, не стесняясь, несмотря на ночь, своих каблуков, прошла через комнату и принялась будить старшего брата. Тот долго капризничал, и в это время человек, копавшийся в моем диване, видимо, закончил работу. Послышался его низкий спокойный голос: «Ничего нет, ложи».

Человек в габардиновой гимнастерке, который держал меня на руках, сказал: «Поправь подушку». И только после этого тихонько положил меня на еще не остывшие простыни и подоткнул одеяло.

Второй раз я проснулся, видимо, уже под утро, когда в нашей с братом дальней комнате обыск уже закончился. Было темно, лишь узкая полоса света от приоткрытой двери лучом прорезала паркет. Я захотел кого-нибудь позвать, но тут увидел, что брат не спит. Он стоял в одной коротенькой рубашечке на валике дивана и, прикинув к щели, образованной косяком и разворотом двери, подглядывал.

Увидев, что я встаю с постели, брат тут же погрозил мне кулаком.

— Тихо. У нас обыск. Отца арестовали.

— Я хочу писать.

В то время я не знал, что такое «арест» и «обыск». Брат оторнулся от щелочки, в которую он подглядывал, и подошел ко мне.

— Давай журчи, — сказал он шепотом и терпеливо держал посудинку. — А теперь иди посмотри.

В щелочку было видно, что двое уже знакомых мне военных, склонившись над письменным столом, вынимали какие-то бумаги.

Я хорошо помню, что, кроме военных, в комнате находились еще двое: молодая дворничиха, одетая в телогрейку, и хромой истопник дядя Володя — понятые.

— А почему они здесь? — спросил я у брата.

— Так надо.

— А можно я пойду к маме?

— Иди спать.

— А ты меня разбудишь, если будет что-нибудь интересное?

— Разбужу.

Эта ночь сейчас встает в моей памяти, как путешествие с частыми остановками. Помню, как в комнате еще раз зажигали свет, и совсем смутно, как заходил прощаться с нами отец. Брат заплакал и повис у него на шее.

Потом отец потянулся ко мне, мне стало неприятно от колкой щетины и свежего запаха табака.

Еще помню утро. Обыск закончился, отца уже увезли, на кухне мать сидит за столом и переводит следователям американский журнал с фотографиями нью-йоркских небоскребов. Этот журнал валялся в доме уже давно, и все картинки я знал наизусть, но еще в детстве меня всегда интересовало не только событие, но и его смысл, детали, последовательность и причинность действия. Я подсел к столу и стал слушать перевод мамы.

Уже через несколько десятков лет, вспоминая эту сцену, молодых следователей после бессонной ночи, попросивших чуть-чуть пояснить им увиденное, я поражаюсь выдержке и мужеству мамы. Сколько же надо было иметь силы и воли, чтобы так внешне спокойно себя держать. И у нее это всю жизнь: никаких поблажек ни себе, ни окружающим. «Дима, — сказала она, увидев меня, — иди сначала вымой лицо и почисти зубы».

Тогда я, конечно, не мог предположить, что когда-нибудь увижу небоскребы, о которых мама читала двум следователям в марте 1943 года.

### Неожиданные соседи и базары

Думая о военных и послевоенных годах, я лишь умозрительно вспоминаю голодовку, трудности. Видимо, мама столько тяжести приняла на себя, что мы, маленькие, чувствовали это лишь «второй волной». Господи, сколько же она и кем только не работала тогда! Но самое главное — с этого, собственно, все и началось — освоила рынок...

Я помню почти все места в Москве, где продавался с рук хлеб. У Кропоткинских ворот, возле булочной на Плющихе, у Никитских ворот, на углу Бронной улицы, как раз напротив афиши нынешнего Театра на Малой Бронной.

На рынках и базарах — в места продажи или мены хлеба я обычно сопровождал маму — для меня существовало огромное количество вещей, возбуждавших любопытство и зависть. Например, продавали с рук конверты. После привычных треугольников это было удивительным. Продавались невиданные длин-



ные платья из цветной блестящей ткани и с шелковыми хризантемами на плече. Или золотые туфельки на хрустальных каблучках. И я поражаюсь, что эти замечательные вещи не вызывали у людей восторга или интереса. Там же, например, поштучно из стеклянной банки продавали конфеты-подушечки, самое вкусное и ароматное лакомство, которое я когда-либо ел.

Особенно врезался в мою память базар в Калуге — там у нас жили родственники: тетя Нюра — сестра мамы — с дочерьми и бабушка, переехавшая к ним из Владивостока. На этом базаре мы с мамой продавали патефон. Бабушка ассистировала, чтобы «мотовка Нина» — моя мать — не «профукала» вещь за бесценок. Продажа шла туго, потому что уже стали появляться «импортные» вещи из посылок с фронта, и дело в конце концов закончилось не совсем выгодным натуральным обменом с кем-то из колхозников. Но один момент заслуживает внимания. Пока бабушка отлучилась, изучая конъюнктуру в рядах и развалах, мама купила мне стакан варенца с коричневой пенкой. Разве сейчас есть такой варенец! Я очень переволновался из-за сложной ситуации, в которую попал: с одной стороны, следовало съесть варенец быстро, пока из инспекционного похода не вернулась бабушка, с другой — потянуть редкостное по своей эмоциональной силе удовольствие.

Мы возвращались с мамой домой в Москву нагруженные подсолнечным маслом, яйцами, антоновскими яблоками из сада моей тетки, помидорами и морковкой.

Дома, в Померанцевом переулке, всё было по-старому, то есть как и когда мы уехали. В кухне стояли два стола — наш и новых соседей. И сразу же по приезду мама поставила на соседский стол тарелку с самым крупным яблоком, огромным помидором, с восхитительной головкой лука и одной, самой ровной и крупной, морковкой. То же самое молча делали и соседи, если им чем-нибудь удавалось разжиться. С соседями мама только здоровалась. С соседями мы судились.

Мама была ответчиком, соседи — истцами.

Отсутствие отца и сам унижительный для меня характер этого отсутствия я ощутил лишь два раза в жизни.

В то утро, когда два молодых следователя покинули наш дом с портфелями, набитыми документами, прихватив с собой кавалерийскую шашку, мама накормила меня и отправила гулять во двор.

Была ранняя весна, снежок. Я примкнул к моим сверстникам, копошащимся у котельной, как вдруг один из близнецов Егоровых задал мне вопрос:

— А где твой папа?

— Мой папа уехал в командировку, — ответил я так, как мне объяснила ночное происшествие мама. Не верить же мне болтовне старшего брата! — За папой пришли два дяди, и папа срочно уехал в командировку.

— Твоего папу посадили, посадили! — закричали оба сытенские, одетые в одинаковые коричневые детские пальто из распределителя близнецы Егоровы.

Я заплакал и пошел домой, не понимая, что означает это «посадили», но догадываясь — это что-то нехорошее и, конечно, унижительное.

Второй раз я почувствовал себя «подпорченным», владеющим каким-то тайным дурным качеством, когда вступал в комсомол.

Бюро собралось в небольшой комнате. Ребята все были значительно старше меня. Многих из них я знал. Меня характеризовали хорошо; наконец последовала традиционная просьба: расскажи биографию, и я ее рассказал. И тут кто-то, не придавая своему вопросу того значения, которое мог придать ему я, спросил: «А где отец?» Я не знаю, что случилось раньше: брызнули ли у меня из глаз слезы или я ответил: «Отец сидит». Все кинулись ко мне. Кто-то сказал: «Парень ожидал, что у него спросят об отце, поэтому такая реакция».

Не знаю, слышал ли кто-нибудь из моих товарищей по комсомолу в то время известную формулу: «Сын за отца не отвечает».

Думаю, что нет. Им всем хватило своего понимания человечности, истины и честности: в тот день меня единогласно на комсомольском бюро приняли в комсомол.

В партию меня принимали через восемнадцать лет. В 1968 году, накануне моего отъезда в воевавший тогда, вернее защищающийся, Вьетнам. Но это другой рассказ.

Совершенно справедливо отмечено классиками, что счастье всегда на одно лицо, а вот образ несчастья в семьях многолик.

Как только исчез из моей детской жизни отец, сразу же на нас обрушились неприятности. И началось все с квартиры.

Квартиру в Померанцевом отец получил в середине сорок второго года. Тогда вышел закон, смысл которого сводился к тому, чтобы более полно использовать небольшой жилой фонд, который имелся в стране. В законе говорилось приблизительно так: если ты не платишь за квартиру, в которой не живешь шесть месяцев, даже находясь в эвакуации, — подразумевалось, что за шесть месяцев людей могло и вовсе не быть в живых, человек мог погибнуть, умереть, — то квартиру распределяют в обычном порядке. Бывший квартиросъемщик терял на нее право.

Мама, даже с ее мягким характером, потом в сердцах обвиняла отца: сидел практически на контроле жилплощади в Москве, мог бы точнее узнать всю историю квартиры, взять наконец для семьи квартиру какую-нибудь выморочную. А он по легкомыслию ничего не проверил и перевез семью из своей — перед войной родители выстроили кооператив — в эту злополучную квартиру, у которой сразу же после ареста отца нашелся хозяин.

Наверное, легкомыслие — свойство и моего характера: оглядываясь сейчас на то, что пережила

мама и моя семья, я понимаю невыносимость этих несчастий, вижу тупое упорство судьбы в охоте на мою маму, но тогда все как-то шло мимо меня, жить было сравнительно легко, детство торопливо катилось своей дорогой, и я не могу сказать, что меня его лишили, что перечеркнула его война, материальное неблагополучие, черствость людей. А может быть, сама мама сделала всё, чтобы удары падали лишь на нее?

Квартирная тяжба началась в самом начале сентября сорок третьего года, и почувствовал я ее следующим образом: первого сентября утром я сам в первый раз отправился в первый класс.

Мама в то утро к девяти часам пошла в народный суд.

Осень прошла в новых впечатлениях: у меня — в школьных, у мамы — в судебных. Я уже догадался — происходит что-то с нашей квартирой, но мне это даже нравилось. Я всегда был за перемены. Наконец к концу осени у многочисленных инстанций вызрело решение: нас из квартиры выселить — а квартира была большая, двухкомнатная, с роскошной по тем временам кухней и ванной комнатой — и предоставить равноценную. Но какой же жилотдел в Москве тех лет мог сыскать равноценную квартиру, особенно семье, глава которой попал в такое своеобразное положение? Только благодаря энергии и воле мамы мы вообще остались в Москве. Я помню, как мои тетки писали матери, одна из Калуги, другая из Таганрога: «Нина, бросай эту мифическую московскую квартиру, из которой тебя гонят, и приезжай с детишками к нам». К зиме проблема для нас встала так: не равноценную, а хоть какую-нибудь площадь. Пока мама бегала по инстанциям и бывшим друзьям отца в надежде найти хоть какую-нибудь жилплощадь, положение осложнилось, и по решению суда истец въехал в квартиру ответчика.

Мне показалось даже интересным, когда мама и брат стали сдвигать мебель из двух комнат в одну. Проходная комната сразу стала таинственной и запутанной, как замок Синей Бороды. Наискосок, вроде перегородки, встали платяной шкаф (тогда чаще шкаф называли шифоньером) и буфет, между ними натянули бечевку, на которой повесили занавеску. У окна письменный стол — огромный старый канцелярский, двухтумбовый — отец привез его из прокуратуры, из списанного имущества. Между этим столом и этажеркой я тут же организовал себе уголок. На пол поставил настольную лампу, кнопками прикрепил репродукции из «Огонька», затащил из ванной низенькую скамеечку и чувствовал себя неизбежно счастливым. Я не понимал, что трагичного в том, если с нами будут жить какие-то люди. У меня не было тайн, плохого настроения, собственных конфликтов с миром, и потом, куда ни посмотришь, везде жили так: в каждой квартире в Москве, в каждом подвале.

Это только наш дом в Померанцевом переулке был чуть лучше остальных.

## Мама и отец

История моей матери и отца, наверно, одна из самых поразительных любовных историй двадцатого века. Здесь было все: похищение из дома, несогласие родителей, плохие и, к сожалению, осуществившиеся предсказания! Здесь были материнская верность, отцовский разгул и ревность, его измены и тем не менее страстная любовь.

Когда два года назад поздней ночью умерла мама, то утром первым проститься с покойной пришел отец. Лицо у мамы было суровое. Губы крепко сжаты. Всю жизнь всех прощавшая, копя всю горечь в себе, тут, мертвая, она уже не в силах была ничего скрыть. Лежала со всеми примиренная, но ничего не забывшая. Отец увидел ее лицо и зарыдал. Несколько часов он провел у ее тела, глядя в лицо. Он успокаивался, потом вновь по его лицу текли слезы, и вновь, склоняя голову на руки покойной, он начинал рыдать. Что вспоминал он? О чем думал? Какие припоминал обиды, которые нанес ей? Простила ли его мама?..

...К тому времени, как мы стали жить в проходной комнате за занавеской и привыкли, что говорить надо тихо, чтобы не беспокоить соседей и не посвящать их в свои дела, — к этому времени от отца стали приходиться письма. Мама с жадностью их читала и перечитывала и уже с письмами не расставалась. Иногда письма приходили таинственным путем и тогда откровеннее и подробнее. И мама, вздыхая, говорила: «Он там по крайней мере не голодает». Глядя на фотографии, которые иногда были вложены в эти письма, я невольно с матерью соглашался. На одной отец в трусах стоял на солнышке, и я удивлялся широте плеч, обтянутых сильным не без жирка мясом. Это была фотография борца из цирка!..

Другая фотография. Отец, плечистый, с сильным волевым лицом, сидел за письменным столом, покрытым стеклом, а на краю стоял букет цветов... Отец был одет в военный китель, но без погон, и если бы не эта деталь, фотография ничем бы не отличалась от тех, что хранились у нас в альбоме. Цветы на этой фотографии своим штатским, неказарменным видом удивили меня больше всего. В моем детском сознании они не монтировались с понятиями: «тюрьма», «зона», «лишение свободы». Удивило меня и то, что с общих работ его перевели и теперь он работает юрисконсультom. Потом на наш адрес пришла посылка из Грузии. Но сначала через нашу квартиру, через комнату с занавеской, прошел грузин.

Теперь я не вспомню ни его имени, ни фамилии. Кажется, все-таки его звали Василий. Для точности я все же буду называть его Грузин.

Поздно вечером в квартире раздался робкий, осторожный звонок. По счастливой случайности дверь открыла мама. Она что-то шепотом, через цепочку, выпрашивала у ночного гостя. А потом шелкнул входной замок, и, откинув занавеску, в

комнату вошел человек. Был он худ, плохо выбрит. Без вещей. Черная щетина обметала подбородок и щеки до самых глаз. По лицу мамы я сразу понял: радость и боязнь борются в ней. Мужчина, не раздеваясь, сел за стол и, покопавшись, откуда-то из-за пазухи достал запечатанное в самодельный конверт из серой бумаги письмо. Мама быстро разорвала конверт, и ее глаза лихорадочно забегали по строчкам. Она плакала и улыбалась одновременно.

Грузин снова покопался у себя в карманах и вынул четвертинку с подсолнечным маслом:

— Это он прислал вам и детям.

— Как он там? — спросила она, складывая лист бумаги. И, нагнувшись к нам с братом, шепотом сказала: — Это оттуда, товарищ папы.

Мама быстро уложила нас с братом спать на диване. Толя, когда мы раздевались, ткнул меня кулаком в бок — ложись к стенке. Я было заверещал. Тогда Толя мне шепотом сказал:

— Мне надо послушать.

— А ты мне расскажешь?

— Расскажу, если не будешь хныкать.

Несколько раз ночью я просыпался. На письменном столе чуть тлела лампочка, затененная поставленной стоя книгой, мама и Грузин сидели за обеденным столом перед стаканами с остывшим чаем, и Грузин, наклонившись к маме, что-то ей говорил. Потом я проснулся под утро; когда, сидя уже у письменного стола, Грузин со скрипом брил щетину, склонившись над зеркальцем маминой пудреницы.

Сквозь сон я видел, как совсем утром — проступал мутноватый рассвет — Грузин, одетый в парадную, без погон, шинель отца — я хорошо помню, что как раз в этот день мама хотела везти ее на Перовский рынок, где в то время собиралась самая большая в Москве барахолка, — попрощался с мамой. На плечах у мамы был темный пуховый платок. Они стояли у самой занавески, и мама рассказывала ему, как дойти до метро. Я толкнул брата. Он заворочался во сне. Потом во входных дверях чуть слышно прошестел язычок замка. Вошла мама. Выдернула штепсель из розетки, разделась и легла к нам на диван. Засыпая, я обнял ее и поцеловал в плечо.

Через месяц мы получили посылку из Грузии.

Мама принесла с почты обычную, даже без объявленной ценности, посылку, срезала ножницами веревочки и сургучные печати, брат вооружился отверткой. Наконец крышка слетела, мы сняли несколько слоев газеты и вдруг увидели...

Деньги тогда ничего не стоили. Поэтому зрелище посылочного ящика с уложенными в нем кусками пахучего деревенского сала нас потрясло больше, чем если бы этот ящик был набит пачками красных тридцаток и серых сотенных билетов.

От изумления никто не смог вымолвить ни слова. Первой пришла в себя мама. Она по очереди посмотрела нам обоим в глаза, приложила палец к губам и начала говорить что-то о школе, об артели вязальщиц-

надомниц, в которой работала в то время, о том, чья сегодня очередь помогать ей мыть посуду.

В это время отношения с соседями — вернее, деловая, официальная линия этих отношений — были напряженны; оставаясь истцами, они никак не могли выселить ответчицу из квартиры, потому что той некуда было вселяться и потому что ответчица, пробегав две-три недели по приемным и кабинетам, каждый раз приносила новую отсрочку, — итак, отношения были натянуты, и предосторожность не мешала. Откуда посылка? Что за посылка? В битве за квартиру даже наши интеллигентные соседи могли применить какие-нибудь экстремальные меры, хотя, честно сказать, им это было несвойственно. Люди были порядочные. Но квартирный вопрос, по меткому замечанию Михаила Булгакова, испортил человечество.

(Забегая вперед, должен сказать, что этой еды могло бы хватить надолго, но буквально через несколько дней брат заболел менингитом, мы уже жили у двоюродной тетки мамы, и все запасы рухнули на врачебных светил, сиделок, американские, купленные на черном рынке, медикаменты. Когда дело касалось ее детей, мама, скромный и тихий человек, превращалась в тигрицу.)

Через пять минут после вскрытия фанерной сокровищницы Анатолий был брошен к ближайшей булочной сменять кусочек сала на буханку хлеба. Он изловчился и наменял пирожков. В то время у булочных и на рынках иногда продавали и аппетитные с виду пирожки с ливером или с мясом. И луком. Про пирожки эти рассказывали разные легенды... Но на этот раз все сомнения относительно начинки были опущены, мы дружно уплетали эти пирожки с ломтями сала, и здесь, уловив паузу, мама негромко и внушительно нам сказала:

— Помните, дети, ваш отец честный и порядочный человек. Ничего плохого он сделать не мог.

Много позже я узнал историю этой посылки.

При всем моем всегдашнем раздражении против отца, человеком он был незаурядным. В нем был порыв энтузиазма, стихийная талантливость. В первые годы революции он, с его красивой фразой и темпераментом, был кумиром митингов и собраний. На митингах он легко требовал крайних мер, но ведь и свою жизнь не щадил. По юношеской ли нераздумчивости? Твердому ли убеждению?

Как жаль, что сейчас нет у нас культуры семейных архивов! С каким наслаждением подержал бы я семейные документы. Но даже биографии дедов — по крайней мере одного, отцовского — остались лишь в семейных преданиях. Мой дед с отцовской стороны был человек богатый. Где-то в районе Пятигорска вроде бы он имел хлебные ссыпки. Лабаз или ссыпки?

Сейчас, когда у всех у нас за плечами революционная и гражданская деятельность наших отцов, мы склонны преувеличивать их былые богатства, дабы мучительнее становился выбор, через который прош-

ли наши родители. У отца тоже был такой выбор. Документально подтверждено, что пятнадцати лет он был сотрудником ЧК. Известно, что его портрет висит в местном краеведческом музее. Скандал в доме, конфликтно-топоров (отцовская родня — люди необузданные), отцовское проклятие, конфискация семейного имущества, в которой принимал участие сын, — это все из семейных преданий. Красная гвардия, руководящая работа, Московский университет — это документы. Огромные ценности прошли через руки отца при различных обысках и арестах, еще в период Гражданской войны — честности он кристальной, бесребренник, — и рассказывал отец об этом так живо и увлекательно, с такими деталями, что я в это верю, а вот пятнадцатилетний мальчишка, участвовавший в расстрелах врагов революции, — в этом я сомневался. Может быть, отсюда, из-за двух войн, в которых он участвовал и за которые у него есть награды, издерганность и нервность отца?

Довольно глухи рассказы об университете. Почти нет имен профессуры, товарищей по учебе, отец не знает ни одного современного иностранного языка, почти не имеет представления о языке законов и самых знаменитейших кодексов — латыни. В конце концов семья не дворянская с тремя поколениями культуры и образованности, а купеческая. В университете отец, видимо, больше митинговал, чем учился. Но, судя по всему, профессура, так незаметно прошедшая через короткую студенческую жизнь отца, тихими интеллигентными голосами крепко вбила в бесшабашную, не загроможденную строгим домашним воспитанием и гимназическими премудростями голову красногвардейца и кавалериста жесткие основы юридической науки. На девственных полях, на целине лучше всего родится пшеница. Знания пошли впрок. Это наложило на природное впитывание, жизненный опыт, социальное чутье и бесстрашие в отношении врагов революции. Отец вырос в одного из самых известных цивилистов — специалистов по гражданским делам. Правда, читая его жалобы и заявления в официальные инстанции, я раздражался от несколько ложной патетики, от излишних призывов к гуманности, человечности, от слишком громоздких ссылок и пространных психологических мотивировок, от неуловимого запаха старинного адвокательства и красноречия. Но здесь ничего не поделаешь, старая интеллигентная профессура, видимо, умела исподволь захватывать воображение своих студентов.

Позднее, когда я стал взрослым, меня удивило, как отец, вчерашний прокурор, несколько лет отбывший срок бок о бок с уголовниками — а для них прокурор всегда враг, — сумел выжить.

В бараке в первый же день, узнав, кто перед ними, несколько уроков с ножами пошли на отца. Тогда отец, бросившись им под ноги, сумел схватить одного за лодыжки, рванул, поднялся с пола и, раскрутив бандита, словно куль, бросил его на горящую печку. Незадачливый драчун оказался с перебитыми реб-

рами и сломанным основанием черепа. Желаящих тут же, немедленно, наказать прокурора больше не нашлось. Силу уважают везде. Отец две недели просидел в карцере, но зачинщиков и коноводов драки не выдал. В барак он уже вернулся своим. И в знак вечного мира написал кассационную жалобу от имени одного из признанных «лидеров» барака. Через полгода «лидеру» скостили полсрока. После этого отец стал писать по одной жалобе в год. Сало в посылке и оказалось добровольным гонораром родителей Грузина, одного из товарищей моего отца по несчастью.

И еще одно воспоминание. Поездка к отцу. Только энергия мамы смогла пробить все кордоны, трудности, собрать какие-то средства, получить одеть нас — «чтобы отец не переживал» — и отправиться в дальний путь. Впрочем, путь был не совсем дальний: в небольшой старинный верхневолжский город, где в то время строили плотину. Если бы не грустный повод нашего путешествия — ехали мы прекрасно. Сейчас бы сказали: по туристскому маршруту — паромом по каналу и дальше по Волге.

Была ранняя весна. Зелень еще не поднялась степью вдоль обеих сторон канала. Но поражали свинцовые просторы воды и огромные, как бы из другой жизни, величественные здания шлюзовых надстроек. Наверное, соблазнительно было бы описать верхнюю и нижнюю палубы нашего парохода. Промозглую сырость, баб, одетых в телогрейки и довоенные плюшевки, голодный блеск глаз. Однако боюсь, что если и гнездятся у меня в уголках памяти эти картины, то это уже воспоминания из кинофильмов. Но как же поразила церковная колокольня, стоящая посреди одного из плесов водохранилища. Как же удивительно было подумать, что там, в холодной воде, сомы бродят вдоль брошенных домов, всплывает плотва в оконные проемы и шуки боязливо заходят под алтарные своды, блестящие сусальным золотом. Долго я глядел на шпиль колокольни с причаленным к ней бакеном. И какие-то очень новые для меня мысли возникли в моем детском сознании. Об огромности работ, которые может свершать человек, о том, что и стихия — долгие месяцы волной бившая в камень, — не разрушила плоды человеческого труда. И память и человеческое дело — очень крепкий материал.

Стоит сказать, что мы ехали не только нашей семьей. Ехал и Николай Константинович, Никстиныч.

Пожалуй, три черты я сразу же отметил в поведении Никстиныча. Внутреннее смущение от своей поездки — он ехал к сыну, у которого во время войны случилась какая-то история. Впрочем, история такая: он оказался отрезанным от своих, раненного, его спрятали в подвал, там за ним ухаживала девушка, в которую он, несмотря на войну и тревоги, влюбился; потом фашисты вытащили его из подвала; к несчастью, Левушка — так звали сына Никстиныча — знал немецкий. Когда вернулись наши войска, он оказался под трибуналом, и в конце концов — вины боль-



шой трибунал не нашел — он очутился в тех же печальных местах, где и мой отец. Никстиныч, видимо, очень стеснялся этого поступка сына, ему, старому интеллигенту, привыкшему всех в доме звать на «вы» — он так всю жизнь звал и мою маму, даже когда отношения стали у них близкими, — претил поступок сына, у него к этому поступку было свое, скрываемое, но жесткое отношение, однако что было делать, как отец он должен был до конца испытать свою чашу.

Меня также поразило обращение Никстиныча со мной. Впервые взрослый мужчина — это составило такой контраст с моим отцом, из всего детства я помню лишь один поход в зоопарк с отцом и покупку эскимо (как памятливы и как отчетливо чутки дети, как точно они понимают искреннее отношение к ним и как злопамятны они на бездушный формализм) — впервые взрослый мужчина был внимателен к моей внутренней духовной работе и к моему мнению. Никстиныч — он мне казался тогда таким старым со своим большим носом, усеянным прожилками, и со старомодными, несколько смешными манерами и словами — замечательно рассказывал мне о местах, по которым мы проплывали, о природе, о своей профессии геодезиста, о книгах, которые я, естественно, не читал.

И поразительно было отношение Никстиныча к маме — тридцатилетней женщине с двумя детьми — в толчее старого парохода. Как же эти люди умудрились сохранить чувство достоинства и благородства в любых условиях! Из галюна, находящегося на палубе, тянуло крепким запахом мочи. Мама сидела на мешке с барахлом, которое она взяла с собой в надежде поменять на продукты, брат пристроился рядом с нею, притулившись к ее плечу, матом бранились мужики, пищали грудные младенцы, вдоль обогревательной трубы висели мокрые детские пеленки. И в этой атмосфере Никстиныч, несмотря на свой немолодой возраст, сидел с прямой гвардейской спиной и немедленно срывался с места, если брат просил пить, и шел добывать кружку или чайник кипятку из титана, выгуливал меня по верхней палубе, если меня укачивало. И как он глядел на маму!

### Новый дом

Я не понимал, чем же новое наше жилье хуже старого? По своей природе я всегда остро чувствую добро и быстро забываю плохое. Я уже и не помнил, как расставались мы с двухкомнатной квартирой. Но мне стало ясно, что наша новая — назовем условно — квартира, конечно, просторнее, светлее и даже удобнее, чем проходная комната и смиренная жизнь за занавеской.

Меня просто очаровали дощатые, некрашенные и такие непривычные после паркета, пахнущие свежим деревом полы. И какой из окон открывался вид: огромный двор, залитый асфальтом! На другом конце асфальтового поля жался маленький двухэтаж-

ный особнячок, окруженный палисадниками; справа от асфальтовой нивы высился многоэтажный гигант, из окон которого раздавались музыка, громкая речь и другие радиошумы. Между домами, большими и маленькими, — ворота. Но ведь были еще и разные закоулки, в которых стояли роскошные, слепленные из старого дерева и огрызков досок сараи — немалое подспорье в решении жилищной проблемы того времени. В начале лета многие семьи, вернее, молодая их часть, с энтузиазмом переезжали в эти сараи, оборудуя их электричеством, радио, обставляя салфеточками, вязаными подзорами, покрывальцами, и наслаждались не коммунальным, а индивидуальным семейным счастьем.

Меня интересовал прохладный и таинственный мир этих сараев. Помню, как выходила замуж наша молодая дворничиха Аля, старшая сестра моего друга Абдуллы. Дворовые легенды передавали удивительно романтизированные подробности знакомства жениха и невесты. Невеста, дворничиха Аля, будто бы разрядившись, оставив в служебном сарае орудия своего производства — совок и метлу, — вместе с подругой поехала в Центральный парк на танцы. И вот на танцах, будто бы лицом к лицу, Аля встретила с татаринком Колькой. Только что демобилизовавшийся Колька взглянул в лицо Али, и обомлел, и не посмел приблизиться, а онемевший, неотступно ходил за двумя весело чирикающими девушками. Потом Колька так же молча проводил девиц до троллейбуса, испепеляюще глядел на Алю в городском транспорте, перепугал прекрасную дворничиху, когда, топя сапожищами, перебежал вслед за нею двор, не отступил на лестнице, ведущей в подвал, ворвался в комнату, где жило многочисленное семейство, и уже в недрах оторопевшей от ночного визита семьи бросился в ноги поднявшемуся в одних кальсонах ото сна отцу крутобровой Али.

Через неделю в подвале зарыдала зурна, забил бубен и запела гармошка: выдавали Алю замуж. Тогда невеста совсем не казалась мне такой уж молодой и прекрасной. Глядя на грубоватое лицо и тяжелые, привыкшие к мужской работе руки Али, я вообще думал: можно ли в нее влюбиться? Но в день свадьбы в красивом платье из довоенного еще крепдешина, в цветастом полушалке и с монисто на шее она казалась мне прекрасной, как райская птица. И праздник казался мне прекрасным. Сначала на асфальтовом пятачке выплеснувшаяся из подвала свадьба поплясала и попела татарские песни, потом под военные песни потанцевал весь дом, а затем молодые, отрешившись ото всех, придерживаясь затененных углов, прокрались в свой сарай. Господи, как билось мое сердце, когда из кустов я увидел, как тихо за ними закрылась обитая жестью дверь. Что же там? Какие же божественные прикосновения творились за закрытой дверью? О чем шептались влюбленные? Какими прекрасными словами наградили молодожены темный сарай, сумевший подарить им тишину и одиночество в перепаханной коммуналками Москве...

Был еще длинный гараж на шесть или семь машин и между гаражом и сараями — чудесная свалка. По переулку, на который выходил фасадом наш новый дом, стоял еще один — небольшой, деревянный. Между этим домом и нашим тянулся деревянный забор, с которого однажды я спрыгнул, играя в казаки-разбойники, на нашего участкового. А в деревянном доме жила тогда молодая женщина, отчаянно дравшая меня за юношеские проделки. Через тридцать лет мы встретились с нею в одном учреждении. И потом, принимая у меня пальто, она каждый раз отчаянно хихикала:

— А ты помнишь, как я тебя жучила?

— После этого, тетя Груша, я и поумнел. Видишь, какой я теперь важный.

— Только почему ты всегда лазил на крышу, подглядывал за девочками?

— Тише, тетя Груша, не роняй авторитет руководства.

Со многими жителями нашего дома и двора позже меня сталкивала жизнь. Парень, с которым некогда я снимался в массовке на «Мосфильме», как-то принес мне для постановки пьесу. Честно говоря, парень этот был в те дальние времена выскочкой. Воспитанный в почти писательской среде — мама у него была сценаристкой, — он, по-моему, не кончил института, а, понадеявшись на свой домашний талант, рано пошел по пути человека свободной профессии: пока был молод и свеж, снимался в кино, потом начал пописывать, стругал репризы для цирка, скетчи для эстрады и самодельности. Когда мы встретились, он писал по заказу какого-то зарубежного издательства книгу с рецептами русской кухни. Я не сказал, с кем он разговаривает, и встретил его в кабинете, полном всяких административных игрушек: диктофонов, селекторов, шумящих телетайпов. В кабинете приглушенно сопели два телевизора, установленные на разные программы.

В этом и выразилась моя мальчишеская жажда реванша. К чести гостя, должен отметить, он и ухом не повел, встретившись с такою административной роскошью, и пьеса у него была очень приличная. Но вернемся к пейзажу из полукруглых окон.

Через неделю после того как мы въехали в этот дом, на полукруглых окнах висели белые крахмальные занавесочки, и ах как хорошо, уютно и чисто было в нашей восемнадцатиметровой комнате, названной почему-то квартирой.

Вся разномастная мебель из прежней двухкомнатной квартиры перебазировалась сюда. И огромный обеденный стол на толстых квадратных ножках, и шифоньер, и панцирная кровать — мамина! — с белыми эмалированными шариками, и этажерка с книгами, и буфет с наборными из граненого стекла дверцами, и диван — все переехало сюда и уместилось в одной комнате, сделав ее родной и уютной.

Но и сам дом — он тоже поражал воображение.

Меня сначала обрадовало множество дверей «квартир». Пишу в кавычках потому, что, как прави-

ло, «квартира» — это лишь одна или две комнаты без кухни и, конечно, без ванны, без туалета, в редких счастливых случаях с раковиной.

Было весело взбегать по узкой лестнице. Лестница коротким маршем, правда, шла и в подвал, и там тоже был целый мир: посередине коридор, а справа и слева от него множество, как в душевом павильоне, дверей, — потому что в подвале жило семей, наверно, больше, чем во всем доме.

И все же моим миром были верхние этажи. Пока бежишь, сколько новой информации западает в цепкую юношескую душу: на первом этаже от Перлиных валит столб сизого чада — жарят на керосинках рыбу; у Сбруевых — три дочери, живущие вместе с пьяницей-отцом, — ругаются; у Панских лает собака. Уже на втором этаже, пробегая коротким аппендиксом к нашей квартире, встречаешь сухонькую Елену Павловну, в коричневой шляпке с блеклым цветком — идет на фабрику сдавать работу, расписные платки, она художница-надомница. На площадке узкой лесенки, которая ведет к двухкомнатным апартаментам Телекевичей, Раиса Михайловна жарит на постном масле мои любимые картофельные оладьи. Честно говоря, я и позже не едал яства вкуснее. «Здравствуйте, Дима, — во весь свой командирский голос кричит Раиса Михайловна, — хотите оладушек?» Но тут звонит телефон. Второй на весь дом. Один висит на стене в подвале, а второй — на втором этаже. «Алло, алло, кого вам? Ах, Сильвию Карловну?» Я стучу в дверь, видимо, лучшей и самой удобной квартиры в доме. Я никогда в ней не был. О расположении комнат и убранстве могу судить лишь приблизительно, высчитав окна покоев Сильвии Карловны по фасаду и прикинув по той части вестибюля, отгороженного капитальной оштукатуренной стенкой, которую Сильвия Карловна оттяпала году в сорок втором — сорок третьем, когда дом был почти пустой. У Сильвии Карловны единственный в доме балкон. Но он расположен как раз над парадным входом, даже не балкон — лоджия с целой стеклянной стеной. За этой стеклянной стеной и расположена комната Сильвии Карловны и ее мужа, тоже тихого и деликатного человека. Они жили без детей. Муж уходил рано на работу и поздно возвращался в неизменном коричневом драповом пальто и с коричневым портфелем. Сильвия Карловна выходила к телефону, муж никогда. И в моей памяти только и осталась неприметная фигура с коричневым портфелем. Ни лица, ни имени не помню. Как-то они исхитрились и за капитальной перегородкой устроили себе и прихожую, и небольшую кухню, и уборную, о которой я догадывался, потому что даже из-за капитальной перегородки — телефон, запакованный в ящик с английским замком, правда, редко запиравшийся, висел как раз на ней, — так вот из-за этой перегородки изредка доносилось иерихонское рычание спускового устройства. А потом, они никогда не посещали скромной клетушечки, находившейся как раз возле нашей двери. Но что же было за дверями Сильвии

Карловны? Каждый раз, подзывая ее к телефону, я видел лишь краешек чистенькой, вылизанной кухни и аккуратно закрытую белую высокую двустворчатую дверь в комнату. Мне почему-то казалось, что там, за закрытой дверью, в комнате, утопающей в коврах, с тропическими растениями, вьющимися вдоль стеклянной стены, в свободное от кухни и телефонных разговоров время Сильвия Карловна возлежит на тахте в роскошных, как Шахразада, шальварах, курит кальян и полной горстью ест восточные сладости.

...Я не успеваю взять оладушек и стучу в квартиру. Снова кусочек чистенькой кухни, белые прикрытые створки двери! А я уже бегу дальше, мельком замечая, что ближайшая к телефону дверь Анны Григорьевны чуть приотворилась — не шире, чем всунуть в щель ухо.

Со стороны подъезда, с переулка, дом наш поража́л своим великоле́пием. Мраморные ступени через нишу, прикрытую раздвигающейся решеткой, вели в вестибюль.

Глядя на бесконечный, похожий на теннисный корт вестибюль, я, воспитанный в функциональной тесноте московских коммуналок, невольно поража́лся нерасчетливости владельцев: сколько же площади пропадает! Мысленно я уже прикидывал, что четыре комнаты, вернее, четыре апартаменты, выходящие дверями на это щедрое пространство, по площади были меньше вестибюля.

В эти комнаты, даст бог, нам еще удастся заглянуть, а пока стоит полюбоваться на вестибюль.

Уже за мою жизнь в этом доме исчезла кованая раздвижная решетка, охраняющая вход в дверь снаружи. Кто-то отломал и, видимо, сдал в утильсырьё бронзовых грифонов, стороживших три ступеньки перед парадными просторами вестибюля. Высвобождая заклинившую втулку велосипеда, я собственноручно расколол мраморный подоконник на лестничной площадке. А сколько и чего только не было вырезано на широких — формата энциклопедии — перилах. Как же быстро человек освобождается от «нетленных» примет времени! Как же, в сущности, мало оседает этих примет по берегам быстротечной реки дней, месяцев и лет... Даже совсем близкие от нас эпохи уходят, оставляя лишь скудные черты. Было вчера, казалось бы, неколебимо, вечно, недвижно, а сегодня? Где оно сегодня? Лишь веселый бульдозер ровняет последние штрихи.

В конце вестибюля плавным изгибом на второй этаж, к нам, к Раисе Михайловне и Сильвии Карловне, врывалась роскошная лестница. Ее портила только наша квартира, потому что совсем еще недавно дальний конец вестибюля, его полукруглый эркер простреливался на всю высоту здания. Военное время и здесь отыскивало ресурсы: какой-то предприимчивый начальник расклинил тавровыми балками вестибюль, отделил его часть, сузил «воздух» над лестницей — так и образовалась висячая квартира. Из трех окон вестибюля, длинных, по конфигурации

похожих на церковные витражи, в квартиру попадали два, вернее, их закругленные верхние части.

В самом куполе, завершающем вестибюль, наша комната оказалась ломтем, вырезанным на пробу. Новая квартира испортила парадную лестницу. Но и такой я ее преданно любил. Впрочем, так же, как и черную, с бетонными ступенями и железными прутьями поручней лестницу для прислуги.

Изредка я любил, входя в дом с переулка, представлять, как же все было раньше. Я входил в подъезд, чопорно, по-хозяйски, стуча каблуками, проходил через вестибюль и, фантазируя, что на локте левой согнутой руки я несу треугольную шляпу с петушиным пером, не спеша поднимался по мраморным ступеням. В эти минуты сердце начинало биться, я ждал, что откроется одна из высоких дверей и выйдет... Но тут звонил телефон, и Раиса Михайловна, оторвавшись от керосинки, кричала мне со своей верхотуры:

— Дима, кого там требуют?

Но чаще я бегал по черной лестнице, заплыванной, грязной, похожей на каменную трубу. Лестница вела в голубятню Макара Девушкина и в тесные комнаты Мармеладовых. Тем более что лет в двенадцать, наверное, раньше, чем кому бы то ни было из моих сверстников, мне повезло встретиться со стражниками книг Достоевского. Но это другая история.

### Граммофонные пластинки

В ровное и беззаботное житье в новом доме иногда врывались события, навеки врезавшиеся в молодую память.

Постепенно мы с братом осваивались в гуще старинных арбатских переулков, среди новых знакомых, наших сверстников.

Интересы брата витали в серьезных сферах. Внезапно появилась у него наколка на руке; он скрывал от меня, что у него водились деньги, которые он тщательно складывал под матрас, ложась спать. Но только скроешь ли что-нибудь от молодого пытливого глаза? Хотя мои интересы были ближе — во дворе, в доме, на свалке, куда из радиодома выбрасывали увлекательнейшие металлические и деревянные разности.

По субботним дням и летом устраивались казаки-разбойники. Многочисленные тонкости игры сводились в конечном счете к простенькому принципу: одни убегают — естественно, разбойники; казаки преследуют. Разбойником, как всегда, быть легче и приятнее. Что за раздолье прятаться среди ящиков, в закоулках подвалов, перепрыгивать через заборы. Вот тут-то я и спрыгнул на бравого усатого участкового Семенова. Одной правой рукой он снял меня со своего загривка, приподняв за шиворот, а левой, еще плохо двигающейся после фронта, выхватил у меня из-за пояса деревянный самопал, стреляющий спичечными головками, — какой же разбойник без нагана! — и, дав легкого пендаля, выпустил меня на

маршрут. Кстати, года через три мы с ним встретились в седьмом классе школы рабочей молодежи. Расчувствовавшись после того, как я проверил ему изложение на экзаменах («Эх, Семенов, Семенов, пишешь ты, словно составляешь протокол. Это же Раймонда Дьен, сторонница мира. Она на рельсы легла, чтобы не пропустить поезд с военными грузами, а ты ее описываешь как нарушителя уличного движения. Но тройку, Дима, поставят?» — «Тебе за старание четверку поставят». — «Неохота учиться. Заставляют»). Но Семенов, как я потом понял, врал. Он только входил во вкус учебы. В десятом классе он на выпускном экзамене решил за меня тригонометрическую задачу. А еще через десять, уже в солидном возрасте, защитил кандидатскую диссертацию. «За чем тебе это, Семенов, у тебя пятеро детей», — говорил я ему после защиты, наливая вино. «Для самоутверждения, Дима. Для красоты жизни. Очень ты меня с Раймондой Дьен разозлил». — так вот, расчувствовавшись, Семенов сказал: «Спасибо, Дима. Твой самопал у меня до сих пор валяется в отделении в столе. Хочешь, верну?» Я ответил: «Спасибо, Семенов, сдай его лучше в музей детских игрушек. У меня уже другие интересы. Я уже не разбойник».

Проекция из моего времени: написано мне на роду всю жизнь ходить по одним и тем же маршрутам.

Значительно памятнее оказался случай с пластинками.

Многэтажный дом, стоящий против нашего особняка, был начинен разнообразными организациями, связанными с радио. Видимо, одно время здесь шла и большая работа по звукозаписи на пластинки. Это и понятно, магнитофоны только появлялись, а вся звукозапись велась на разнообразные грампластинки. Пишу «разнообразные», потому что тот случай как раз был связан со стеклянными дисками. Это были действительно стеклянные диски, чуть политые с двух сторон специальным покрытием, на которое и велась звукозапись.

Сразу после войны импортные шеллачные материалы, из которых штамповались грампластинки, стали большим дефицитом. В преискуранте лавочек по покупке у населения утильсырья, а по Москве их тогда ютилось много, значился и бой грампластинок, стоил который тогда довольно изрядную сумму, рублей что-то пять. И поэтому все мы, дворовые пацаны, наряду с медными и латунными поделками, дырявыми медными котлами, текущими водопроводными кранами, латунными старомодными люстрами, которые в те времена нерасчетливо шли на помойки, а теперь в комиссионные магазины, — и поэтому все мы, дворовые пацаны, наряду с металлоломом старательно выглядывали на своих помойках и пластиночный бой. В этом отношении наша помойка была урожайная!

Из осколочков пластинок мы создавали в своих потаенных уголках запасы, а потом тащили все это в ближайшую к нам, у Тишинского рынка, палатку побору утильсырья. Опытный и ласковый дядя Гри-

ша, вечно мерзший в этой палатке, быстро рассортировывал нашу добычу, для вида бросал на весы и потом молниеносно сосчитывал на счетах. Мы получали по небольшой толике денег и, радостные, подхлестнутые этим стимулом, разбегались для новых поисков. Так создавались ребячьи запасы. Каждый на что-нибудь копил. На что-то копил и я. И вот по мере того как условная сумма у каждого росла, приближаясь к заветной, поиски новых источников обогащения или интенсивность в разработке старых увеличивались. Мы просто зыркали глазами по сторонам. И вот однажды была получена информация: за забором, ограждавшим нашу «штатскую» часть двора от служебной, за большим забором, подсвеченным фонарями и разукрашенным поверху колючей проволокой, хранится под навесом большой ящик с пластиночным боем.

Я никогда не забуду того жуткого вечера, когда мое испуганное и робкое сердце вынесло мне приговор за кражу. Чего я боялся? Скандала, поимки с криками, милиции? Стида, пересудов по дому, слез мамы? В распыленном сознании я уже прокрутил все: и крики во дворе, и яркий свет лампы в караулке, при свете которой охранник вызывает милицию, и себя, остриженного, с землистым цветом лица за колючей проволокой. И все-таки — может быть, все же это лишь жажда события, приключения? — я полез за этот проклятый забор.

До сих пор помню и наш темный осенний двор с мотающейся на столбе лампочкой, и стук своего разбойного сердца, и каждую мысль, пронесившуюся тогда в моей преступной голове.

Несмотря на страх, я продумал все: еще днем присмотрел местечко моего «прорыва» к социалистической собственности — там, где к забору примыкали груды битого кирпича, — и, надев старую куртку, вышел из дома около десяти, когда во дворе никого не было.

Свою добычу — ящик с пластиночным боем — я умудрился пронести незамеченной к нам в комнату и засунуть под кровать брата, стоящую возле двери.

Всю ночь я почти не спал. Мозг уже пережил все: страхи, позор, разоблачение. Что-то более властное, нежели раздумье о физических ущемлениях, тревожило меня. Душа была неспокойна.

Всегда — и окончив школу, и учась в университете, и уже работая — я производил впечатление ухоженного домашнего ребенка. Всем казалось, что я вырос в семье, которая не знала лишений. В среде, где детей с пяти лет учат английскому языку и музыке. Но все это было совсем не так. С пяти лет, когда началась война и мы были эвакуированы в деревню, я был предоставлен самому себе. Мать никогда не имела времени, чтобы проверять наши домашние уроки, читать с нами книги, ходить в театр или на елки. Она неукоснительно следила только затем, чтобы мы были чисто одеты, залатаны, чистили по утрам зубы. И все-таки мама с детства внушала нам: дурно воровать, нельзя лгать, нечестно обижать



младшего, у каждого человека должна быть совесть. Какая совесть? Что за совесть, в раннем детстве переживал я. И вот эта невидимая и таинственная совесть отплатила мне в темную осеннюю ночь.

Этой ночью я все же решил отнести эти проклятые пластинки обратно, понял, что я не создан, чтобы противостоять разрушительной работе пресловутой совести. Я дал себе слово не делать в жизни чего-нибудь подобного. Утром обнаружилось, что не только моя совесть против меня, но и судьба: пластинки оказались из стекла, в палатке утильсырья не имеющие никакой цены.

И все же — во имя искренности — надо продолжить мой рассказ.

Через тридцать с лишним лет я испытал тот же страх, те же мучения и так же, как много лет назад, решил: не гожусь для разворотливой деятельности добытчика и стяжателя. Увы, мне шустрость «дельца» приносит, видно, лишь мучительнейшие угрызения совести и разочарование в себе.

Я даже не знаю, почему я взял дачный участок за сто километров от Москвы. Скорее всего, сработала нелепая мечта: когда-нибудь уйду с работы на «свободные хлеба» и вот тут мне потребуется моя «башня из слоновой кости», мое убежище, где я, отгороженный от суеты повседневности, еще, может быть, напишу главный труд — о, неосуществимая мечта! — удивительную «Песнь Песней» моей жизни. Напишу такой труд, что все восхитятся, труд, который оправдает мою жизнь, оправдает аскетичность в юности, когда я во имя работы, сидения за столом, лишал себя радости общения с друзьями, радости от просто «легкой», не обязательной для меня книги, лишал себя неповторимой юности.

Наш дачный поселок, где предстояло подняться моему «монрепо», рос как на дрожжах. Вставали рубленные избы, затейливые мансарды, появлялись роскошные заборы с боярскими воротами. И только мой участок зарастал бурьяном, и через него во время распутицы уже начали ездить на машинах соседи. У меня не было ничего. Ни досок для сарая, ни кирпича, чтобы поставить фундамент под финский домик, ни слепи, чтобы перегородить дорогу наглым автомобилям. И самое главное, я, казалось, мог бы все достать — договориться, попросить мне помочь друзей — и имел деньги (я как раз получил гонорар за книгу), чтобы за все с лихвой заплатить. Еще с вечера я внутренне планировал: позвонить туда, сделать то-то, но уже утром волна рабочих дел, конечно, более интересных для меня, нежели строительные, «подсебашные» проблемы, захлестывала меня, и я откладывал на завтра решение проблем личных. Бог с ними, завтра успею...

Но раздражение против своей неразворотливости у меня росло. Я размышлял: почему все так складывается у меня? Может быть, потому, что не было помощника? Жена твердо сказала, что заниматься строительными заботами не станет. Она человек урбанистского склада, и дача ей не нужна. Как же стро-

ят мои соседи? И в один прекрасный день я понял: мои сослуживцы два дня в неделю — в субботу и в воскресенье — вкалывали на своих участках, переворачивая горы земли и поднимая вверх стропила, но зато всю рабочую часть недели, четко отодвигая в сторону свою службу и заботы в учреждениях, с энтузиазмом сидели на телефонах, связываясь с лесоторговыми базами и кирпичными заводами, смывались на полдня, заказывая машины и разбирая на вывоз бревенчатые дома, предназначенные к сносу. Я же в это время сидел за письменным столом, отвечая на телефонные звонки и подписывая бумаги. Не мог я отложить нужные дела ради собственных. Я понял, что надо оторваться от службы, взять два дня отпуска за свой счет и постараться завезти строительные материалы, а там уже найду шабашников — и дела у меня пойдут.

За эти два дня, объездив на машине пол Московской области, я сделал многое. Там сунешь в карман чужого пиджака завернутую в газету бутылку коньяка, в другом месте два часа прстоишь в очереди, в третьем ничего не получается и, главное, не знаешь, как подойти к начальственному лицу. В эти критические для «собственника» моменты выход один: искать уже не самого большого начальника, а самого маленького. Вот этот самый маленький начальник — рабочий с пиlorамы — и сказал: «Ты здесь долго еще будешь мыкаться? Давай десять рублей задатка и подъезжай к одиннадцати ночи к забору, я тебе перекину твой штакетник».

К одиннадцати вечера я уже весь изнервничался. Как тать в ноши, на машине я подкрался к базе. В душе стоял стыдливый холодок. Я боялся попасться? Вряд ли. Ну, перекинут мне, согласно договоренности, перевязанные пачки штакетника. Я брошу все это в багажник и — ищи ветра в поле. Логика говорила: все здесь будет в полном порядке. По дороге я думал, что когда-нибудь напишу статью, как честный человек в силу обстоятельств стал почти жуликом. Как стыдно, думал я, что мне приходится ловчить, пользоваться всякими жучками, ставить под удар свою репутацию. На душе становилось все мерзостней. В тенях ночной дороги, казалось, прятались наблюдающие за мной люди. В каждой проезжающей машине мне мерещился человек в форме. И повторяю: я прекрасно понимал, что все обойдется, никому нет дела до десятка пачек струганых палок, которые перебросят через забор. Ни одной душе. От базы до моей дачи всего тридцать минут езды по проселку. А уже на своем участке мне ничего не страшно: купил у соседа или сосед мне нарезал циркуляркой. И все же — какая грязь! Значит, кроме этого часа или двух, пока я буду крутиться со штакетником, я буду еще нервничать завтра и послезавтра? Думать и переживать целую неделю? Нет, это не по мне. И тут я вспомнил о своем детском воровстве. Жутком накале детских переживаний. Как все оказалось это похоже! Боже мой, ведь еще тридцать лет назад я сказал себе: никогда не прикаснусь к чужому. Еще попадет

мое «дело о хищении» в руки комиссару Семенову... Ведь под суд не отдаст, но засрамит, впишет мой пример — «мутация личности под воздействием частнобственнических инстинктов» — в свою докторскую диссертацию! Никогда. К чертям собачьим этот штатетник, идею хозяйственного накопления, долой деловую дошлость. Да здравствует спокойная совесть!

### Моя тайна

Даже в самые лучшие дни я никогда не чувствовал себя раскованным в компании сверстников. Будто надо мною висела порча, обвинение в легкомыслии. Снисходительно принимались мои объяснения: ушел из школы, не поступил в институт, снимается без образования в кино. Все это было очень зыбко, непривычно, не поддавалось знакомому стереотипу, не несло на себе социального ярлыка. Я понимал это и со своей стороны тоже был снисходителен к своим друзьям. Даже мои самые удачные стихи они принимали, как десерт после обеда, но без внутренней веры в них и меня. Однако я знал, что я хочу и чего добиваюсь, и, рискуя сожалеть о бессмысленно потраченной молодости и юности, исподволь делал свое дело.

Очень трудно было противиться искушениям удачи. Жизнь поворачивалась светлым крылом, появлялся манящий покой и сладостное благополучие, новые пути открывались, и казалось только — иди, вот шоссе, на котором твоя судьба расставила знаки дорожного движения и прикатала асфальт. Но во имя задуманного, во имя глубинного ощущения правоты и неколебимой веры в путеводную приходилось говорить: нет, нет, нет. Победствуем, на ринге жизни будем подставлять плечи под удары. Вперед! «Чтоб не смутить риторикой потомка и современность выразить верней».

Самое сильное искушение было, когда я начал сниматься в кино. Что могло быть престижнее и значительнее, чем если бы соседи и друзья могли бы увидеть мою рожу на экране. В то время выходило лишь несколько фильмов в год, и появление хотя бы половины твоего плеча на экране свидетельствовало о приобщенности к какому-то высшему и красивому миру. А сама жизнь артиста в народном представлении тех лет? Лицо на весь фасад кинотеатра «Центральный», который прежде стоял на Пушкинской площади в Москве на месте, где ныне вход в метро. Овации возле артистического подъезда, когда ты с нарочитой скромностью, стремясь быть якобы незамеченным, выходишь из театра. Иностранцы премьеры и гастроли. А это значит чужие, знакомые по Драйзеру и Бальзаку города — об этом только можно было мечтать! В своем воображении я знал всё: как раскланяться, что сказать репортерам, как заискивать перед поклонниками и организовать себе цветы и славу, но я вовремя понял, что играть-то ни в кино, ни в театре по-настоящему не смогу.

Когда кривая вывезла меня на один сезон в далекий провинциальный театр, я весьма убедительно поболтался на сцене, но это был ад, потому что приходилось математически высчитывать, когда надо подавать свою реплику, чтобы быть правдивым, думать, как повернуться, и вспоминать, как есть. Из этого пустого года я вынес огромное уважение к актерам как к представителям самой необъяснимой на земле профессии. Но лишь раз почувствовал, что такое их работа, которая всегда должна быть игрой.

В какой-то военной пьесе у меня был диалог с одним пожилым актером, играющим моего отца, и вот во время этого диалога я встретил его взгляд и в нем вдруг прочел, что он по роли хочет от меня, своего сына, не произнесенное вслух, и вдруг я, каким-то несвойственным мне, но пленительным своей новизной чувством понял, что сын, которого я представлял, должен был ответить отцу. И я ответил. И в глазах актера, которые оставались в то же время глазами моего отца, в мгновенном сужении зрачков прочел одобрение: «Молодец, Дима, так и шпась дальше». Мне стало легко. Моя утомительная кибернетика представления сгнула, и я опять ответил актеру. И почувствовал себя одновременно и сыном его, и лицедеем и оставался самим собой.

Публика не взорвалась аплодисментами. Такое поведение актера на сцене должно быть нормой. Но у меня это чувство легкости игры никогда больше на сцене не появлялось, хотя считал я здорово, и еще много лет этого никто бы не заметил.

Однако судьба сталкивала меня с лицедейством и раньше.

Я оказался в массовке на «Мосфильме», когда только что окончил восемь классов. Два необходимых условия были соблюдены: имелось свободное время (я учился в школе рабочей молодежи) и был в наличии паспорт. На «Мосфильме» несколько побавились мои восторги по поводу блестящей жизни возле кухни грез, но прибавилось самоуважение — в то время для семьи это был доход немалый.

Труд в массовке — особая статья и, быть может, особая повесть, где будут и хорошие отношения с ассистентами актерского отдела, и дружба с бригадами массовок, за свою жизнь под юпитерами кинофабрик износившими не один атласный камзол и изведшими не один килограмм шеллачного лака, которым обычно гримеры приклеивали усы и бороду. Массовка — это целый мир со своими примадонами, склоками, хулиганами, сумасшедшими. Есть категория людей, которые здесь постоянно живут: престарелые актрисы, смазливые девочки, не поступившие в театральные училища, вертлявые парни, приобщающиеся к искусству, сумасшедшие старухи. Здесь надеются на чудо, на ослепительную, как у Золушки, карьеру. Какие бросаются здесь взоры, как тщательно подбираются туалеты, как продумываются небрежные челки и выющиеся на висках пряди!

И, однако, в этом мире мне повезло. Я находился в самом расхожем для кино возрасте: юн и не занят постоянно школой.

Я кочевал из массовки в массовку, бессловесной тенью принимал разные позы, смеялся, аплодировал или негодовал по требованию режиссера. Помрежи как-то засунули меня даже в «окружение» — есть такой термин, означающий постоянный человеческий фон героев, — фильма «Аттестат зрелости», и с тех пор я знаю ребят, сделавшихся впоследствии известными актерами. Моя фамилия стала появляться в титрах, и вот постепенно коварная мысль начала закрадываться в сознание: а может быть, это и есть мой путь? Может быть, стоит спроектировать его так: ГИТИС, театральное училище либо Институт кинематографии?

«Артистическая карьера» уже начала приносить маленькие дивиденды. Когда пришла повестка в армию, знающие друзья из массовки сказали: устраивайся в военный театр — получишь отсрочку. Я поболтался на «актерской бирже», стихийно в межсезонье собирающейся в Москве, и меня «зафрахтовали» в театр, который давал отсрочку. Но уже осенью этого же года я поступил на заочное отделение в университет.

Год в театре был годом потерянными. Нечего в жизни хитрить. Еще раз я убедился в необходимости следовать призванию. Пришел к директору театра крутобровому капитану Шустину и сказал, что подаю заявление об уходе.

— А я пишу письмо с отзывом твоей брони. Придется, дружок, послужить. Ты у нас в театре все молоденьких офицеров играл, суворовцев. А здесь придется поиграть в солдатики. Не хочется солдатиком-то?

— Хочется. Служу Советскому Союзу.

— Ладно, валяй. Подпишу я тебе заявление. Я отслужил в армии положенное.

Второй раз серьезное искушение изменить призванию возникло, когда я оканчивал университет.

Меня всегда и губило и спасало незнание правил игры. Поступая на филфак, я не представлял, как писать сочинение на приемных экзаменах. В скитаниях по киносьемкам я не очень баловал школу своим посещением. Но школьное сочинение, как и любой вид работы, требовало навыка. В этом смысле опыт у меня был один: на аттестат зрелости сочинение я списал. В университете это оказалось невозможным. И я написал первый в своей жизни рассказ. Только сама форма спасла меня от двойки; аспирантки, принимавшие экзамены, именно за содержание, пренебрегая количеством грамматических ошибок, поставили мне проходную тройку и после совместными усилиями тянули меня по всем устным предметам.

Приблизительно такая же история произошла у меня с дипломом. Я несколько обалдел от четырехмесячного отпуска, который мне дали на госэкзамены и дипломную работу, и так увлекся другими раз-

нообразными и часто для меня более приятными делами, что пришел на кафедру за темой для дипломной работы, когда ничего путевого, легкого в списках уже не было. Я выбрал западноевропейские заимствования в лексике десятилетнего архива князя А. Б. Куракина, чей звездный портрет кисти Боровиковского висит в Третьяковке.

Стугили меня добросовестность и незнание правил... Вместо дипломной работы я сделал словарь заимствованных слов на трехстах страницах и узнал, что это лишь блестящее приложение к моей дипломной работе, только за десять дней до защиты. Еще неделю я употребил на написание тридцати страниц самой работы и в результате получил рекомендацию ученого совета в аспирантуру. Единственный. На потоке в сто пятьдесят человек. Тут-то меня и замучили сомнения. Может быть, пуститься в науку? Разве плохо быть профессором? Большая зарплата. Квартира в профессорском доме. Почтительные ученики. А главное, все это без нервов: сиди дома почитывай, пописывай, съездил в университет, почитал лекции нерадивым студентам. Можно ли отыскать лучшее?

А если нет, надо возвращаться в газету — в это время я уже работал корреспондентом, — опять бедотня, дежурства допоздна, жалобы на каждую твою корреспонденцию и сто рублей в месяц. Аспирантская-то стипендия больше. И, как надпись в самолете «Пристегните ремни», всплыло перед глазами: помни о призвании!

Друзьям не принесешь устное высказывание оппонента: «Эта дипломная работа может лечь в основу кандидатской диссертации». Все, что я успел, было случайным. Для них я не был человеком одной темы. Все не как у людей: школу вечером, университет заочно, в газете работаю — так, областной, пишу статьи — так, небольшие. О, сладостный реванш у близких друзей! Пушкина из меня не получилось. А Эдька Перлин был уже кандидатом биологических наук и перворазрядником по шахматам; Юрка Шлялев окончил военное училище и носил лейтенантские погоны; Гарик Опенченко работал синхронным переводчиком в ООН, Татьяна училась в Институте имени Гнесиных, и ей прочили карьеру великой оперной певицы; ее брат Витька работал начальником радиостанции в Антарктиде. В Антарктиде! И объехал уже полмира! А я еще только собирался статью...

Я всегда знал, кем я хочу стать. Откуда взялось это желание? Было ли оно самонадеянным? Я и сам иногда пугался его определенности, но что делать, если с детства я хотел стать.... писателем. И никем иным. Только.

Помню, лет в семь, когда я поступил в школу, каким-то образом мне в руки попали десять рублей. Сумма небольшая по тем временам, кто-то подарил мне эти десять рублей, как «сиротке». Что должен был сделать с этими деньгами любой нормальный ребенок? Что угодно, только не то, что сделал я, ваш покорный слуга, читатель! Я купил каких-то два чах-

лых цветочка в горшочках. Придя домой (мы еще жили в двухкомнатной квартире и, значит, непрошенные жильцы еще не стали нашими соседями), мама увидела, что маленький столик, мой детский, выдвинут на середину комнаты, а на нем по краям два горшочка с цветами, в середине — чистый лист бумаги, карандаш и канцелярские скрепки. Я играл в писателя.

— Что ты тут делаешь, Дима? — спросила мама.

— Я играю.

Что означала моя «игра», я не признался бы ни за что.

### Мамина тайна

В октябре 1954 года неожиданно вернулся отец. Он приехал ночью. Я утром проснулся, а напротив, на стуле, сидел незнакомый мужчина. Я почти сразу догадался, что это отец. Только густые волосы остались отцовскими, но поседели. Лицо приобрело бурую окраску. Морщины закаменели, выделялись скулы. Надо ртом, между худыми щеками, треугольником опускался нос.

В зрачках у сидящего напротив меня мужчины что-то дрогнуло, как несработавшая шторка в фотоаппарате. И тут же мама сказала:

— Это твой отец, Дима.

Я уже был довольно взрослым и знал, как положено встречать отца, возвратившегося после многих лет отсутствия. Но в сердце у меня ничего не произошло. Это был чужой мне человек. Тем не менее я потянулся к нему и, когда он склонился над диваном, поцеловал его в чужую, пахнущую дешевым одеколоном щеку.

Отца определили жить не ближе ста километров от Москвы. Документы на право ношения прежних орденов и восстановление его в партии были посланы, но ответа еще не было. Отец жил у нас как бы нелегально.

Это были тягостные для меня дни. Время я старался проводить на «Мосфильме» и с нежеланием шел домой, где поселился непривычный для меня человек.

Никто из соседей, кроме Раисы Михайловны, о возвращении отца не знал. Но она была человек верный. Она даже нажарила ему целую тарелку моих любимых картофельных оладий. Они пили с отцом чай на краешке стола, и Раиса Михайловна во время чаепития спросила отца:

— А профессора Мишу Лазовича вы не встречали?!

— Нет, не встречал.

— Он когда-то ухаживал за мною в юности.

— Может быть, встречал, но забыл. Невысокого роста такой?

— Нет, Миша был высокого роста.

Из комнаты отец никуда не выходил. Ему, наверное, было стыдно жить на иждивении жены и детей, но он отогревался. Ведь впереди у него лежала тяжелая работа и ожидание бумаг о пересмотре дела.

В отношении моих родителей что-то происходило. Тайна, которую я узнал, меня огорошила. Как же мама так долго могла не проговориться и воспитывать в нас любовь, уважение и почитание по отношению к отцу?! Сама она его не уважала. Еще любила, наверное, но не уважала, а может быть, и презирала за предательство.

Дело оказалось вот в чем. В заключении, в свой лучший период, когда отец работал юрисконсультантом, он сблизился с женщиной, тоже заключенной. У женщины родился ребенок. Согласно правилам, этого ребенка должны были устроить в детский дом. И вот, оказывается, еще лет пять назад, в самое тяжелое для нашей семьи время, отец написал маме письмо и, зная ее великодушные, призывал ее взять на воспитание, пока не освобождена мать ребенка, его сына.

Я только отдаленно могу представить, какие муки перенесла в то время мама, получив это письмо. В те годы, когда она сохраняла ему верность, отец, как говорила мама, «искал себе удовольствия». Ее отчаянию не было предела. И все это она перенесла молча, ни с кем не делясь, и заставляла нас с братом еженедельно писать ему письма.

(Всю эту историю я узнавал по частям много лет, и окончательное подтверждение нашел в переписке с отцом, которую она мне разрешила посмотреть перед смертью.)

Мама ответила отцу, что во имя спасения своих детей она не может принять ребенка чужой женщины, она написала и что думает о его поступке. Она не могла простить измены, но не хотела, чтобы кто-нибудь мог подумать, будто этой изменой она воспользовалась как предлогом бросить отца. Она написала отцу, что разведется с ним в день его выхода на свободу.

Мы говорили с мамой об этом почти накануне ее смерти.

— Мама, почему ты плачешь?

— Я любила его всю жизнь.

— И когда разводилась с ним?

— И тогда...

— Но ты же вскоре вышла замуж за Николая Константиновича.

— Только он один мог довести твоего брата до института и сделать из него человека. У меня перед Николаем Константиновичем был долг.

— Мамоchка, но ведь и перед собой у тебя тоже были долги — быть хоть немножко счастливой.

Она внезапно тяжело, сквозь боль, улыбнулась.

— Очень мы думаем о долге быть счастливыми... Это видно по тебе: что ты знаешь, кроме своих бумаг?..

...Через месяц пребывания отца в Москве маму встретил на улице участковый Семенов и намекнул, что дней через пять собирается навестить нас — ему что-то стало известно.

Мама заторопилась провожать отца. Пришло несколько сослуживцев с его бывшей работы, другие нашли причину, чтобы не прийти. Мама продала



какие-то вещи, брат прислал из Сибири, где он работал, перевод, мы отдали отцу мое новое пальто и проводили его поздно ночью на вокзал. Он уехал под Брянск, где районным прокурором работал его друг юности. На первое же письмо тот ответил ему: «Приезжай, устрою».

На вокзале я поцеловал отца. Он прижал меня к себе, и я вдруг почувствовал, что он родной, близкий мне человек. Но я отогнал от себя это чувство: знал, что никогда не забуду маминой обиды!..

## Работа

Каждый день, глядя из окна кабинета на маленький особнячок, я думаю, скольким для меня памятным событиям он стал свидетелем. Сюда впервые пришла моя девушка и стала моей женой. Еще раньше здесь мы праздновали получение моего аттестата зрелости и диплома об окончании университета. А сколько других, может, более мелких, но не менее памятных случаев, эпизодов, моментов! Первую напечатанную мою статью я принес сюда, в эту маленькую комнату. Получив ордер на новую квартиру, здесь мы мечтали о замечательной новой жизни. В том особнячке я впервые надел костюм, сшитый для меня портным. И здесь же пережил первые разочарования.

И все же маленький особнячок с пестрой судьбой в первую очередь запомнился мне другим. Изнурительной работой. Разве в памяти только, как, лежа на диване, читал я эту свою первую статью? Нет! Я в первую очередь помню, как все я писал, сбивал варианты, помню физическую усталость от напряжения мысли. Я вообще помню, *как* все писал. Могу забыть сюжет, имена героев или персонажей, но где это написано и само мое состояние в этот момент не забудется. Мой старый дорогой дом, в котором я жил, забит этими воспоминаниями.

За свою жизнь я грузил вагоны, копал землю, красил заборы, стоял в карауле, бегал с автоматом по полю, снимался в кино, служил лесником, водил машину, работал библиотекарем, искусствоведом, репортером, помогал в партии геологам, был артистом, разносил телеграммы и газеты, но я не знаю труда изнурительнее, чем труд думать и писать. Не верьте представлению о легкой жизни под сводами, о писательстве как о процессе писания. Это процесс самоистязания и самоуничтожения. Соблюдение своего нравственного долга перед событиями, которым стал ты свидетелем, перед рано умершими друзьями, перед хорошим и плохим, что ты встретил в жизни.

Я с детства знал, что буду писателем, но почему же так долго шел к этой цели? Почему так быстро обгоняли меня мои сверстники? Они так бойко выражали свой двадцатилетний мир. А меня он не интересовал. Я искал других жизненных поворотов и постоянно воспитывал себя, зная: кто же захочет читать необразованного и неинтересного человека.

В стареньком особнячке я никогда не читал книг про шпионов, дешевой фантастики, сентиментальных историй «про любовь». А приключения мысли, бессмертные истории ушедших веков — это тяжелая, но благородная работа. Твой труд окупается здесь чувством самоуважения, растущим — без пользования сносками — пониманием трудных авторов, той медленной работой ума, которая формирует душу. Писать, читать, думать. Это каторга, но сладкая каторга.

Глядя на особняк из окон кабинета, я думаю: мог бы я сейчас повторить этот труд? И отвечаю: нет, не мог бы. Это труд юности. Он не поддается ни в каком другом возрасте. И как хватило у меня терпения «ждать»? Что это было — расчетливость или вера в свои силы? Как я смог переносить иронию людей, немного посвященных в мои планы? Вот вышла, например, новая повесть в «Юности». Автору — двадцать лет, вот появилась и еще новая юная звезда!.. А что ты в двадцать лет?

Может быть, в поисках близкого результата я и стал журналистом.

В 1959 году, весной, вместе с одним юным и веселым существом, получающим стипендию на факультете журналистики — то есть в положении с точки зрения реальных ценностей явно неравном: очаровательная студентка-отличница и парень-заочник, — мы шли по весенней, неповторимой, как она бывает только весной, Москве.

Это была Москва новой эры. Впервые мы вошли в легендарный Кремль, в который раньше вход был только по пропускам, увидели соборы, о которых много читали, походили по брусчатке возле Ивана Великого. Каждый дотронулся пальцем до меди Царь-колокола. В бывшем Манеже, где долгое время был гараж, открылся Центральный выставочный зал. Гремели вечера в Политехническом. Уже стояли университет, гостиница «Украина», высотное здание на площади Восстания. Выросли Черемушки... Мы шли весенним маршрутом: Красная площадь, Александровский сад, Библиотека имени Ленина. Стояли длинные, теплые, весенние сумерки. Только что зажглись огни. И вот когда мы проходили мимо Александровского сада — тогда было меньше машин и меньше шума, — из его таинственной благоухающей прохлады вдруг раздалось тугое прищелкивание и пробная, пристрелочная трель соловья.

Юное существо не зря получало повышенную стипендию.

— Боже мой, — воскликнуло юное существо, — из этого можно сделать информацию для «Московской правды», ведь из-за загрязнения воздуха — слова «окружающая среда» заявили себя лишь два десятилетия спустя, — из-за загрязнения воздуха, — трепетала очаровательная отличница факультета журналистики, — соловьи давно из Александровского сада улетели, а теперь, значит, вернулись. «Соловьи в центре Москвы» — так я назову эту информацию.

Я был потрясен тем, что, оказывается, столь просто решается святая святых газетного творчества. Не озарение, не шелест хитона музыки, а лишь факт и его осмысление. А главное, это осмысление доступно, оказывается, и мне. На это не нужен специальный патент. Нужно только стремление. А муза, если хорошо посидеть за столом, она, муза, придет, прилетит. Куда ей деться...

— А разве можно прийти в газету и просто так принести заметку?

— Можно даже прийти и сказать: я бы хотел у вас внештатно поработать, не дадите ли вы мне тему?

Какое сладостное чувство зарабатывать деньги трудом, к которому ты готов и который ты любишь! Но сколько надо было испытать, чтобы так просто прийти в редакцию и сказать: «Я бы хотел что-нибудь для вас написать». Надо было отринуть робость, внутренне быть готовым к вопросу: «А кто вы, собственно, такой, чтобы писать для нас?»

У меня все обошлось более-менее гладко. На первый раз мне поручили объехать полтора десятка райкомов комсомола и выписать строки из заявлений ребят и девчат, отъезжавших на целину.

Но какое чувство радости видеть в газете восемь строк, даже без твоей подписи, но которые подготовил ты!

Газетная карусель закрутилась: первая информация, первая корреспонденция, первый очерк, первый материал, отмеченный как лучший на редакционной летучке, первая командировка, первый перелет на самолете. Здесь всё и всю жизнь впервые, но это при условии, если каждый раз ты ищешь единственный необходимый ракурс материала, если не используешь уже нажитых тобой приемов.

Журналистика не отпускает тебя ни на минуту. Ты чистишь картошку и думаешь, читаешь учебник и видишь своего героя, разговариваешь с друзьями и ищешь единственное, точное и неповторимое слово.

Моя бывшая комната полна этих бесконечных, до отчаяния, размышлений. Она полна бессонных ночей и вариантов статей.

Но труднее всего было думать: может быть, все это зря? Может быть, ты бесцельно тратишь золотые дни юности? Может быть, лучше становиться не зеркалом жизни, а самой жизнью?

А кругом все кипело. Я выписывал строки из заявлений ребят, отъезжающих на целину, а эти ребята ехали. И как было завидно глядеть на них! Их ждала настоящая жизнь: со свистом ветра, с усталостью после работы, с конкретными делами, которые они оставят после себя. Эти ребята уже завоевали себе право через много лет сказать: я поднял это поле и посадил это дерево.

А потом пошли Братская ГЭС, Красноярская ГЭС и другие знаменитые и громкие стройки. В 1961-м взлетел Гагарин. Все мои сверстники занимались земными и осязаемыми делами. Приносили реальную пользу. Они летали, перевозили грузы и

пассажиров, строили. После них что-то оставалось, реальное и долговечное.

Густая и жгучая зависть к их труду — под просторами неба, среди вольных степей и в распадах гор. Зависть по мужской, тяжелой работе, зависть к их загару, к упорной основательности. Ведь такой большой и разнообразный мир вокруг, а я сузил его листком бумаги. Столько всевозможных инструментов, от лопаты до скальпеля и микроскопа, существует в обиходе человечества, а ты пользуешься лишь одним — автоматической ручкой.

И сейчас сама жизнь, густой ее замес, волнует меня больше, чем ярчайшие описания. До сих пор в минуты слабости подкрадывается мысль: «Вот начался БАМ. Ведь, в конце концов, мне не восемьдесят лет. Брошу-ка все ко всем чертям. Хоть учетчиком, хоть шофером, но туда, в пылающее горнило жизни».

При взгляде на окна своей комнаты я вспоминаю и ту работу, которую я, как углекоп, прикованный цепью в шахте, делал, не ожидая награды и славы. (Пробиться, напечататься — это лишь счастливый вариант завершения. Один из многих.)

В тесной комнате впервые увидел я лица вымышленных мною героев. Здесь они заговорили и сгрудились возле моего стола, требуя труда и жизни. Это была бескомпромиссная стража, полосовавшая меня и принуждавшая работать. Они подчинили меня себе, отбирая воскресные дни, отпуск, часто время для сна. Я записывал их речи, и интерьеры, и пейзажи, в которых они хотели существовать, искал для них девушек, которых они хотели бы любить, посылал их в давно задуманные путешествия. Папки с протоколами их жизней копились одна за другой по книжным самодельным полкам.

«Может быть!» — вот был мой девиз. Если я уж без этого не смогу — написать. С печатанием — как повезет. В конце концов при недостатке свободного времени была альтернатива: или писать, или бегать с рукописями по редакциям. Но писать было интереснее. Я писал в стол. И все-таки однажды я предпринял смелую попытку: пять экземпляров своей первой повести разослал в адреса пяти журналов. «Москва» ответила хорошей, положительной рецензией и не напечатала. В «Новом мире» представление на редколлегию сделал Ефим Дорош — и не напечатал; в «Знамени» рецензию написали кислую — и не напечатали; в «Звезде» — разгромную — и не напечатали; из «Волги» пришло доброе письмо.

...Состоялось «может быть». Я не был тщеславным. После тридцати мне не доставляло радости видеть свои фотографии и имя на журнальных страницах. Но мне так хотелось дать жизнь своим героям! Придутся ли они по душе людям? Хотелось узнать, чего же я стою сам. Я готов был бы отдать свою первую повесть любому, безвозмездно, лишь бы увидеть ее напечатанной. Не тщеславие! Мне хотелось увидеть мою работу законченной до конца. Работу, и только.

### Неожиданные удачи

Несмотря на скученность, в доме жили дружно, секретов друг от друга ни у кого не было. Если в кастрюле у кого-то варилась курица, об этом становилось известно всем. Целым домом обряжали на свадьбу невест и провожали покойников. Оценки поступающих в вузы ребят становились известны всем. Во время вечеринок соседи занимали друг у друга стулья и посуду. Мама консультировала всех по юридическим вопросам. Елена Павловна для девочек была главным законодателем художественного вкуса. У Раисы Михайловны всегда можно было перехватить денюжат. Я чинил всему дому пробки. Анька с нижнего этажа перелицовывала и ушивала брюки, куртки и рубашки. Дом жил общими интересами и радостями. И только иногда (сугубо на принципиальной основе) вспыхивали конфликты. Поводы их были почти всегда известны: поквартирно или «подушно» платить за свет, принадлежит ли телефон, стоящий на втором этаже, и жителям первого. И более локально: можно ли Эдьку Перлина впускать в туалет с книгой. Во время конфликтов дом делился на партии, на телефон второго этажа вешался ящик с запором, в ответ на первом этаже на парадном подъезде врезался замок: пусть второй этаж ходит только через черный ход. Таинственная рука ночью выворачивала лампочку перед дверью многодетной Марии Туранюк, сторонницы поквартирной оплаты за электричество, тогда Мария подводила в коридор собственную проводку с выключателем в комнате, но ослепительная сорокасвечовая лампочка неизменно потухала, когда старая восторженная дева Елена Павловна наливала из бутылки керосин в примус или кто-нибудь из соседей тащил через закуток Марии Туранюк ведро с помоями. Но все это были досадные эпизоды, лишь прерывавшие общее умиротворенное и заинтересованное житье-бытье. И лишь единожды дом распался не на партии, а на «каждый за себя». Единожды вместо дипломатических манипуляций с электролампочкой были высказаны резкие слова и проделаны пиратские акции.

Мы как-то привыкли к условиям керосинок и электроплиток. Знали, что где-то в городе проживают счастливицы, под кастрюлями которых бьетса синенькое некопящее газовое пламя, да мало ли у кого чего есть, только не про нашу честь. Дом не роптал, не требовал перемен, а дружно и безответно терпел. И вдруг, как удар молнии, разнесся слух: будут проводить газ!

Волнение вызвала сама эта пьянящая новость, но слухи по дому уже гуляли, обещая такие конфетные доли, что дух захватывало. То дом забирали под посольство, то научно-исследовательский институт собирался устроить здесь конструкторское бюро, то вроде бы особняк облюбовала другая могущественная организация. Но, поциркулировав, слух этот — дыхание людских надежд — увядал, делался слабее и, наконец, выпускал дух, переходя в ранг домовых

мифов: «Вот в одна тысяча таком-то году, когда дом собирались забрать под посольство...» Да и все реально понимали, что не нашлось еще такой могучей организации, которая способна была расселить наш многосемейный муравейник.

Поначалу к этому «газовому» сообщению скептики и реалисты отнеслись настороженно. Подумаешь, газ! Может быть, еще квас из кранов будет течь? Это что — жизненно важно, чтобы был газ? Да зачем же этот газ, когда у каждого и керогаз и керосинка, а кое у кого, например у Сильвии Карловны, есть и примус. Но слухи обрастали немыслимыми подробностями о газовых духовках и конкретизировали предмет: в какие квартиры газ подводить будут, а в какие нет. Но самое удивительное, что слухи подтверждались.

В доме стали появляться разнообразные личности, осматривающие, выстукивающие и обнюхивающие наши апартаменты. Личности лазали по этажам и что-то записывали в свои блокнотики. На попытки завести с ними более лирические отношения, выяснить, что думает проектная организация, отвечали решительно и кратко: «Чего беспокоитесь, всем достанется!»

К этому времени в умонастроении жильцов наступили существенные изменения. О благословенный газ! Ты будешь кипятить чайник за пять минут! Если нагреть чайник и две большие кастрюли, то можно помыться и дома в корыте, а не тащиться в баню. Обед варить за два часа. Пол мыть горячей водой. О, приди, благословенный и давно ожидаемый газ! Жизнь без тебя уже невыносима, невозможна, лишена значения и смысла.

И вот в один прекрасный день в дом, вернее в купеческо-дворянский вестибюль, завезли газовые плиты. Пока одной машиной восемь плит. Первыми об этом узнали неработающие старухи, и дело закипело. Вцепившись своими морщинистыми ручонками в чугун и эмалированное железо, объединившись по пять-шесть человек, как муравьи, они тянули сверкающие новизной плиты по дальним углам. Гром, гам, грохот стоял на ступеньках. По вестибюлю плиты волокли на половиках, на лестнице подкладывали дощечки, молодцам из гаража во дворе сулилось по паре пива за помощь. Всё вошло в высшее напряжение человеческого духа и физических усилий.

К пяти часам, когда основной контингент возвращался с работы, когда, как вулканы, разгорались керосинки и беспрестанно начинала хлопать дверь в туалете, вся газовая аппаратура была разнесена, а кое-где уже и прикрыта от глаз мешковиной, тряпьем. В вестибюле осталась только единственная плита, вокруг которой легкой рысью семенила бабка Серафима Феоктистовна, с утра занятая неотложнейшими делами по спасению собственной души в Елоховском храме.

Полшестого в вестибюль к сиротливой плите стал подходить народ. Собирался грозный домовый сход.

Все с удивлением глядели на единственную плиту. Раздавались призывы к самосуду и кличи к перераспределению. Начинался бой за последнюю плиту: кому?

Сильвия Карловна пискнула, что в своей, отторгнутой от коридора кухне она смогла бы создать для плиты хорошие условия.

С сочувствием было принято заявление Раисы Михайловны, что ее Даня женится, ей придется кормить и его и жену, а будущая жена у Дани слабенькая. Даню любили. Даня был фронтовик.

Протиснувшись через частокол спин, выступила художница Елена Павловна: дескать, если кому и следует уступить единственную плиту, так ей, как художнице и старухе.

— Ах, старухе, — завывала уборщица тетя Паша, — значит, теперь она старуха! А как кто-нибудь из мужиков пройдет перед сном мимо ее керосинки в кальсонах... Она, видите ли, себе по ночам кофей варит, без кофей художества ей в голову не лезут. Кто-нибудь из мужиков спяну ночью мимо ее, холеры, керосинки в кальсонах пройдет в туалет, так она ох, ах и кричит, что она девица! А когда плита ей нужна, так она старуха!

— Чего спорить, — раздался внезапно глухой бас Марии Туранюк, — и чего разоспорились? Моя эта плита, как детной матери и одиночки.

И все здесь примолкли. С Марией не поспоришь.

— Берите-ка, пацаны, — махнула Мария своей ребятне, — ставьте возле двери. Баста!

Конечно, уже на следующий день все образовалось. Пришла еще одна машина. Плиты перестали быть дефицитом, а потому вызывать интерес. Но машина, кроме плит, привезла и разбитного красавца прораба. Прораб за дело принялся хватко. Первым делом все плиты, разнесенные по разным углам, были возвращены на прежнее место.

Женщины окружили его тесным кольцом. Прорабатывался главный вопрос: где будут стоять плиты. Опять Сильвия Карловна настаивала на сепаратных переговорах за закрытыми дверями. Мария Туранюк удостоверилась, что ее, детную мать, не обидят, и ушла. Из своих дверей вышла портниха Анька в коротеньком халатике.

— А в нашей квартире можно установить газ?

— Для вас плиту можно установить в любом месте.

— А все же? — переспросила Анька.

— По проекту, — прораб развернул небольшую тетрадку, — по проекту в коридорчике перед вашей квартиркой не хватает кубатуры, поэтому плита у вас будет общая в вестибюле.

— Это кто эту кубатуру мерил? — надвигалась на прораба Анька, ослепляя его сверкающими коленками. — А ну-ка пойдем со мной, померяем вместе!

— С удовольствием, отказывать женщине в чем бы то ни было — не в моих правилах.

Мы всей гурьбой двинулись было за прорабом, но Анька, уперев руки в бока, как полководец оробевшую гвардию, грозно спросила:

— А вас кто звал? Нам понятые не нужны. Сами справимся.

Через пять минут несколько задущенный прораб выскользнул из Анькиного закутка, выкрикивая на ходу:

— Хорошо! Я разве против вашего счастья? Всё сделаю к вашему удовольствию.

— Давно бы так, — говорила, выходя вслед и небрежно потягиваясь, Анька, — а то какую-то кубатуру придумал. А она, кубатура, вся при мне, и, если кому-нибудь недостает, могу одолжить.

— Прикройся, бесстыдница, креста на тебе нет, — прошамкала бабка Серафима Феоктистовна, — ишь растелешилась. Детей бы постеснялась...

— А чего их стесняться, — сладко, как кошка, улыбалась Анька, — пусть любят и учатся. А насчет креста, бабуленька, ты права. Не только креста нет, а даже и комбинации. Так вольготней.

...Нам плиту поставили в коридорчике, ведущем на черную лестницу. Четырехконфорочную плиту с духовкой. И какая же у нас была радость, когда включили газ! Радость во всем доме. Ведь никто, главное, не просил, никто не требовал у депутата этого газа, а вот некий неизвестный дядя подумал о нашем доме, и о Марии Туранюк, и о тете Паше, и о Елене Павловне, и о том, что Даня собирается жениться. Вспоминая этот эпизод из нашей жизни, я всегда думаю: как умели мы тогда радоваться маленьким удачам жизни, как умели их ценить! Вот это умение ценить осталось, наверное, у всего моего поколения. Мы радуемся санаторию, в который приезжаем, новой квартире, которая, безусловно, лучше старой, импортному венгерскому костюму. Никому из нас не придет в голову травить себе душу, что санатории есть и лучше, квартиры строят и в центре, а кроме венгерских костюмов, в магазинах бывают и французские и финские.

Какое счастье, что это суровое время выучило нас ценить доброту. Ценить труд и заботу о нас. Ах, как не хватает этого дню сегодняшнему.

Почти двадцать лет назад, в конце 50-х годов, мы с моей будущей женой получили свою первую штатную работу. Редактор газеты нашел, что единство стиля двух молодых журналистов бросается в глаза, здесь не миновать слияния и жизненных устремлений, и сделал нам свадебный подарок: разделил одну ставку в восемьдесят восемь рублей на две — половину жениху и половину невесте. И как же мы были рады этим деньгам! Какими казались они нам большими и, честно говоря, даровыми! Ведь мы получали гонорар за каждую мелочь, сделанную для газетных полос, нам стремились приплачивать, так что зарплату выдавали вроде как за красивые глаза. И мы уж старались эти деньги отрабатывать, готовы были лететь на любое задание, писать по первому зову, дежурить вне очереди, мы вообще проводили на работе весь день — с утра и до вечера. Потому что газета была самым интересным, самым значительным в наших жизнях...

Ну, вот я и превратился в сорокалетнего брюзжащего старца. Хочу написать, что раньше все было лучше: каша гуще, сметана слаще и молодежь вежливее. Но сметана и в наше время сладкая, молодежь такая, что начинаешь побаиваться ее интеллектуального превосходства. Знают они больше нас, в поступках дерзостнее, в любви искреннее, в жизни бойчее. Но и наше время кое-что значило. Оно быстро формировало нас, ставило перед нами невыполнимые задачи, и мы их выполняли. Нам, правда, было наплевать на наши пиджачки, рубашки и галстуки. Лучше, конечно, поновее, но коли нет, и так сойдет. И что-то из нас всех получилось. Кто, например, мог подумать, что этот сонливый и вечно голодный мальчик из комнаты с полукруглыми окнами превратится в самостоятельного человека! Я всегда вспоминаю бабушку: взглянула бы старушка, как безукоризненно вежлив, просто на уровне мировых стандартов, ее безалаберный внучок, которому она давала первые уроки вежливости и нравственности. Просто в наше время в быту мы заботились о другом.

Один раз я был в недорогой туристской поездке по Индии. На самых современных машинах мы ездили и летали по стране, жили в добротных отелях, нас хорошо кормили. Нас, естественно, обслуживали по туристскому классу. Я чувствовал себя в чужих отелях в окружении состоятельных иностранных господ и дам совсем не парией. Я понимал, что в пересчете на их свободно конвертируемую валюту наше путешествие стоит в несколько раз дороже, чем мы заплатили, потому что советскому туристу, уезжающему за рубеж, льготы дают профсоюз, «Аэрофлот», «Интурист». Мы только об этом редко задумываемся. И видимо, мои спутники об этом не думали совершенно: через неделю началось некоторое раздражение, потому что американцев отправили на семи легковых автомобилях, а нас на автобусе с кондиционером, потому что... Было много этих возможностей к раздражению еще у сравнительно молодых людей. И я все время думал: что это? Отсутствие достоинства, стремление к компенсации своей социальной роли, неумение мыслить широко или просто привычка требовать. Мелкая привычка, требовать на всякий случай — а вдруг дадут. И что тебе положено, а что нет. А вдруг мама купит французские сапоги, о которых и сама-то не мечтала? А вдруг папа три раза не поедет в отпуск, возьмет на работе компенсацию и подарит мотоцикл? К окончанию десятого класса. А почему папа должен платить сыну за то, что тот хорошо учится? Почему?

Вот такие соображения возникли у меня, когда перебирал я счастливые события своей юности, — в наш дом провели газ.

### Даня женится

Даня вернулся с фронта — он служил на флоте, — наверно, за год до того, как мы въехали в особняк. Мне тогда казался он таким взрослым, что я рассмо-

трел его как следует, лишь когда мне самому исполнилось семнадцать. Даня уходил из дома рано утром, а приходил вечером. Он никогда не останавливался в коридоре, в исключительных случаях выходил звонить по телефону, а когда с кем-нибудь здоровался, старался не поворачивать головы.

После возвращения с фронта Даня не носил шинели, кителя, а сразу надел пиджак, пальто и мягкую шляпу, которую, поднимаясь по черной лестнице, всегда старательно натягивал на глаза.

Собственно говоря, глаз у него был только один. Второй — неживой, стеклянный, с пронзительным немигающим взором. И все лицо Дани без привычки казалось демоническим: оно было покрыто синими вьёвшимяся точками сгоревшего пороха. Постепенно я узнал, что в руках у Дани на фронте взорвалась мина. Но зло, которое мина причинила человеку, на этом не кончилось. Правой руки у Дани тоже не было. Вместо нее был протез, одетый в тонкую черную перчатку. И я всегда удивлялся: кто же снабжает Даню такими прекрасными перчатками?

К тому времени, когда я наконец-то рассмотрел Даню, он уже окончил юридический факультет университета и года два работал судьей в другом районе Москвы. Мне хотелось поехать посмотреть, как же он судит и как сидит в большом удобном дубовом кресле с гербом на спинке.

Перед Даниным приходом, часа за три, Раиса Михайловна, его мать, становилась к плите и что-то стряпала, изобретая различные блюда из моркови, картошки, а когда отменили карточки и жить стали лучше, то и из мяса. Запахи носились по всем нашим этажам, выделяясь необыкновенным ароматом и тонкостью. По длительности витания этих запахов можно было определить: задерживается Даня или нет, потому что года за два до женитьбы он стал задерживаться.

Настоящих причин этих задержек долгое время не знала даже Раиса Михайловна, но однажды рано утром она постучалась к нам в комнату и принялась шептаться с мамой. Из бурного шепота женщин я понял, что у Дани появилась девушка.

Интересно, подумалось мне, какая из себя? Тоже какая-нибудь черненькая, хромает, наверно, или немножко кособочит. Какая же другая пойдет за Даню?

В тот период я еще считал, что все разговоры о духовности, трепете чувств, слитности душ — это своеобразные литературные фигуры, которые нужно освоить, но жизнь-то идет по-простому. Если на тебе белый плащ с белым шарфом и брюки дудочкой — тогда почти одновременно появились своеобразные эти брюки, слово «стиляга» и, с легкой руки фельетониста Ильи Шатуновского, родовое обозначение и для брюк, и для всего стиля, которого придерживались эти узкобрючки: «плесень», — то ты король. А у Дани ни белого плаща, ни белого шарфа, ни — судя по скромной гастрономии Раисы Михайловны — больших денег нет. Даню могла полюбить только какая-нибудь чернавка.



В этой мысли — о необходимости красивой одежды для успешного чарования — меня утвердила одна голубоглазая девочка из соседнего, предвоенной постройки, дома.

Мне было уже лет четырнадцать, и одет я, скорее, оборван, был страшно, а тут приближались майские праздники. Мама как-то изловчилась, отыскала старинную, из шерстяной ткани нижнюю рубашку деда, распоролла ее, покрасила и за ночь сшила мне дивную тужурку с фигурной, зубцами, кокеткой. Такие куртки только-только входили в моду. И вот когда хорошо воспитанная, с бантом в русых волосах девочка увидела меня в новой куртке, она сказала: «Если бы ты всегда, Дима, был так красиво одет, я бы с тобой дружила».

Меня очень интересовало, как Дания прогуливается со своей девушкой: с какой стороны идет — с той, где у него нет руки, или с той, где нет глаза. И как объясняется, смотрит ли он ей в глаза!

Одна деталь, впрочем, прояснилась: левая рука у Дани была очень крепка. Как-то я стоял в коридоре и на столе, где до «эры газа» жила наша керосинка, гладил брюки. Я гладил их по нашей семейной технологии: крепко выжимая в тазике с мыльной водой тряпку. И тут проходил Дания.

— Не так ты делаешь, Дима, — сказал он. — Тащи парочку старых газет.

На сложенных по складкам брюках Дания развернул газету, сбрызнул ее водой из кружки и, схватив левой здоровой рукою раскаленный утюг, мощно ударил по газете. Из-под утюга хлынул пар.

— Вот и действуй дальше, — сказал Дания, — у нас на флоте брюки гладили так.

Мы еще не видели Данину невесту, но все были очень, как тогда говорилось, заинтригованы. Какая из себя? Сколько лет? Блондинка или брюнетка? И главное: хорошенькая?

Раиса Михайловна жаловалась маме: «Данечка такой скрытный, от него ничего не узнаешь. Я только один раз поговорила с ней по телефону, когда Данечки не было».

Постепенно, однако, кое-что выяснилось. Девушку звали Машенька. Она была на два года моложе Дани и проходила у него практику, а до института еще окончила музыкальное училище.

— Вот и прекрасно, — сказала мама, — значит, Данечка и вся ваша семья должны полюбить музыку.

— Мы купим патефон, — сказала Раиса Михайловна.

— Это хорошо, но лучше займитесь билетами в театр, — посоветовала мама, — на Лемешева и Уланову ни одна девушка пойти не откажется.

Какая здесь началась кутерьма! С утра и до ночи раздавался громкий, на весь дом, клекот:

— Соня, это ты, Соня? Это я, Рая. Ты знаешь, мой Данечка женится...

Дальше шло полное описание всех сложностей Даниного положения, музыкальное образование не-

весты и ее непреодолимое желание посетить с Данией Большой театр.

— Ах, это не ты, Соня, распространяешь билеты? Не ты? А я думала, ты. Но кто же тогда из нашего класса распространяет? Ах, Беллочка? Это какая же Беллочка? Которая вышла замуж за зубного врача или которая до войны работала в аэроклубе?

Ликующий голос нашей соседки уже заполняет собой все закоулки. Тихая Раиса Михайловна вообще не могла говорить по телефону спокойно, она принимала только одну форму — форте.

— Ах, боже мой, — кричит Раиса Михайловна, — а я и не знала, позор на мою старую седую голову, а я и не знала, что Беллочка из аэроклуба стала Героем Советского Союза. Боже мой, в гимназии она была совсем тихой девочкой. Что? Она еще и полковник? Да, да, мне теперь совершенно ясно, что билетами занимается Беллочка, которая замужем за стоматологом. Она еще играла на виолончели. Давай мне скорее ее телефон.

Раиса Михайловна размашистым почерком быстро записывала на стене телефон Беллочки и бежала к себе на верхотуру переворачивать морковные котлеты.

На мгновение ароматная волна ударяла по всему дому, жильцы сглатывали слюну, и наступало новое антре.

— Беллочка, это ты, Беллочка? Это Рая. Какая Рая? Ах, боже мой, какая Рая?! Твоя лучшая подруга, с которой ты сидела почти за одной партией. Беллочка, я к тебе с просьбой. Мой Дания женится...

Я прикрывал дверь и стремительно — вполуха, впрочем контролируя разговор, дабы не пропустить следующего антре, — повторял неправильные глаголы: в год Даниной женитьбы я поступал в университет.

Наконец уже знакомые мне новости иссякали, Раиса Михайловна в своем материнском радении входила в новый виток.

— Нет, нет, никакого Большакова. Лично я против Большакова ничего не имею, но мне нужен спектакль только с Лемешевым. И за Викторину Кригер я тебя благодарю, но необходима Уланова. Я верю, что Кригер — прекрасная балерина, но, ты сама понимаешь, Уланова — это Уланова.

Дальше начиналось самое захватывающее: торговля из-за мест, из-за яруса и, самое главное, из-за стороны в зрительном зале — «правой» и «левой».

Я долго не мог понять, здесь-то уж чего спорит Раиса Михайловна со своей школьной подругой, и только потом мне все разъяснила мама.

— Ты не думай, Дима, — говорила мама, — что Раиса Михайловна, если даже она кричит по телефону, — женщина такая простая. Она подыскивает такие места, чтобы Дания сидел рядом с Машенькой с той стороны, с которой у него здоровый глаз. Понял?

Постепенно при помощи дневных бесед Раисы Михайловны с подругами и друзьями — а кто только не числился, оказывается, в ее записной книжке — отношения у Дани с Машенькой наладились. Нако-

нец стала даже известна дата, когда Машенька должна была прийти с официальным визитом, чтобы познакомиться с Даниными мамой, бабушкой и бабушкой.

Подготовку Раиса Михайловна начала с самого раннего утра. Даня запретил Раисе Михайловне готовить всякие кнедлики, печенье с корицей и прочих кулинарный шурум-бурум. Раиса Михайловна испекла торт из геркулеса по рецепту Елены Павловны, а Маша Туранюк проконсультировала соседку по части украинского борща, потому что молодые должны были прийти с работы.

Весь наш второй этаж принял посильное участие во встрече. Хозяйки, будто сами по себе, выдраили до блеска газовые плиты в коридоре, по возможности замаскировали помоиные ведра, а тетя Паша вне графика вымыла лестницу на черном ходу и туалет. Необычную щедрость, ко всеобщему удивлению, проявила всегда сторонящаяся общественных движений Сильвия Карловна. Наверное, после долгих раздумий она подошла к Раисе Михайловне и сказала:

— Я слышала, что ваша будущая невестка — музыкантша. Если вы захотите, то вечером можно сервировать чай у меня. У нас пианино марки «Шредер», и, если девочке захочется показать себя, она смогла бы поиграть.

После пяти весь дом занял позиции. На лавочках у черного хода — тятя Паша, Мария Туранюк, бабушка Серафима Феоктистовна. Люди более тонкой организации — Елена Павловна, Сильвия Карловна — устроились у окон. Анька из вестибюля, не желая смешиваться с непросвещенной толпой на лавочке — окна ее выходили не во двор, — попросила разрешения наблюдать церемонию из окон нашей комнаты.

Наконец какой-то добровольец из мальцов вбежал с улицы в ворота и махнул рукой: идут!

Дом принимал торжественный парад. Дом всегда знал момент, когда надо выслать караул и устроить боевой смотр. По какой-то только ему ведомой команде он так же собрался, когда мой брат привез с дипломной практики жену. В том же почти неизменном составе дом выставил почетный караул из всех родов войск, когда я впервые привел показывать маме свою невесту. Только тогда Анька наблюдала за происходившим из окна Елены Павловны. Не избежал общей участи ни Эдька Перлин, ни Витька, никто из моих сверстников. Этот святой обряд — все-таки наш мальчик (девочка) женится (выходит замуж)! — продолжался до самых последних дней совместной жизни в коммунальных квартирах этого столь симпатичного мне дома. До тех пор, пока машины, нагруженные скарбом, рожденным теснотой и скученностью, не развезли нас по однокомнатным, двухкомнатным и трехкомнатным квартирам новых районов Москвы.

...Сразу же за сигнальщиком-добровольцем в воротах показались Даня с Машей.

Тетя Паша перестала лузгать семечки, бабушка Серафима Феоктистовна отложила носки, которые она штопала для вдового дьякона из Елоховского собора, Елена Павловна поднесла к глазам театральный бинокль на перламутровой ручке, мама отошла немножко от окна, чтобы с улицы не была столь явной ее заинтересованная позиция, Анька же, наоборот, по пояс свесилась из окна.

Ко всеобщему удивлению, Маша оказалась крепенькой, как морковка, рыжеватой девушкой. Она уверенно семенила возле сумрачного Дани и щебетала, не закрывая рта. Ее каблучки цокали по асфальту в ритме мендельсоновского марша, и всем стало ясно, что дело сделано и, как бы Даня ни рефлексировал, жениться ему на Машеньке, потому что Машенька его любит и уже не видит, есть у него рука или нет, а любит целиком и таким, каким его подарила ей судьба.

Во время торжественного ужина у Раисы Михайловны даже по телефону в доме никто не разговаривал. Особо смелые люди, вроде тети Паши и бабушки Серафимы Феоктистовны, на цыпочках поднимались к дверям Раисы Михайловны и тревожно прислушивались. Вниз они сходили совершенно успокоенные, потому что, по их мнению, все шло прекрасно: за дверью раздавалось веселое щебетание и смех Машеньки, бормотание о будущих правнуках почти парализованной Даниной бабушки и под сурдинку романс «Записка» в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко — с пластинки, которая крутилась на новом, только что купленном патефоне.

Так Даня женился. Через две недели мы его, нафранченного, в белой рубашке, с цветком в петлице и в черных, несмотря на летнее время, удивительного качества перчатках, сажали в автомобиль, присланный ему из прокуратуры. Даня ехал за невестой.

Потом была свадьба, на которую набилось много парней с орденскими планками и совсем молоденьких девушек. Танцевали все в вестибюле, на нашей плите варили глинтвейн, а под утро Раиса Михайловна вместе с каким-то хлопцем из Даниных товарищей станцевала под баян веселый танец казачок.

Даня с Машенькой первыми выехали из нашего дома. Через две недели после свадьбы им дали новую квартиру, жизнь к этому времени стала уже легче.

### Дядя Коля

Меня всегда поражала духовная общность между моей мамой и ее сестрами, глубина понимания ими трудностей друг друга. Это единство, так непохожее на мои отношения с братом, видимо, выросло на традициях воспитания в большой семье, где младший донашивал одежду старшего, а старший был младшему нянькой, воспитателем, товарищем. Сегодня, в век приходящего достатка, все это обстоит, наверное, по-другому. Младший не наденет «обносок» старшего. И старший не только к своему вну-

треннему миру, но и к своей компании не подпустит младшего. Мои тетки и мама умели поступиться и своими личными интересами, и даже интересами семей, чтобы помочь друг другу. И такая помощь впервые пришла к маме от тети Нюры из Калуги сразу же, как из нашей жизни выпал отец. Письмо от тети Нюры и приезд дяди Коли, младшего маминного брата, почти совпали по времени — зима 1944/45 года.

Первый раз за нашей занавеской мы заговорили громко, мама рассмеялась, позволила себе, накрывая на стол, звякать посудой, когда вечером неожиданно раздался звонок. Как же, приехал брат, раненый фронтовик.

Дядя Коля казался мне, мальчишке, тогда пожилым, даже старым, а было ему, как я понимаю сейчас, всего лет двадцать восемь — тридцать. Он скитался после ранения, полученного, когда торпедный катер тонул и дядю Колю, полуживого, обмороженного, все же сумели выудить из не самого гостеприимного Баренцева моря... Он тогда скитался по госпиталям, а потом долго ехал в Москву, по дороге распродавая все с себя, лишаясь шинели, кителя, шапки, даже белья: дядя Коля после фронта стал горячайшим пьяницей. Человеком он был красивым, щедрым и талантливым. До войны успел окончить институт и был по образованию экономистом.

Уже на моей памяти он пять или шесть раз блестяще начинал. В разных городах Союза: в Калуге, Владивостоке, Уссурийске, Свердловске, Новосибирске. Каждый раз он начинал с нуля, с рядового бухгалтера или экономиста, быстро становился главбухом, начальником планового отдела. Дирекции мирились с его мелкими выпивками, а потом в один непрекрасный день начинался большой запой. Он пропивал с себя все, бросал очередную женщину, с которой собирался жить до старости, и, еще как следует не протрезвев, оказывался где-нибудь в иной точке нашей Родины.

При первом знакомстве дядя Коля мне не понравился отчаянно. Он был грязный, оборванный, небритый. А мама сразу захопотала над этим неопрятным мужиком. Стала вытаскивать из чемоданов отцовские вещи, рубашки, галстук, белье. Мне это не нравилось, особенно потому, что раньше мама все это берегла, аккуратно складывала и внушала нам мысль: выяснится недоразумение с отцом, он вернется, и вещи снова ему будут нужны. В момент, когда она щедро одаривала дядю Колю, мне казалось, что совершалось предательство. Я вообще ревновал маму ко всем — к отцу, к брату, к любым нашим знакомым. Я даже был рад, что отца нет с нами, потому что вся любовь мамы достанется мне. А тут приехал какой-то оборванный человек, и я уже на заднем плане, все в доме закрутилось вокруг него. Я не мог спокойно наблюдать эту сцену, ушел в свой разукрашенный уголок и горько плакал от собственного несовершенства, от чувства ревности, которое, я понимал, гадкое и недостойное чувство, но оно жило тог-

да во мне, и я не мог его погасить и плакал от собственного бессилия.

Однако не так прост был и мой дядя. Он вытащил меня из угла, «не заметил», что я плачу, затормошил, закричал, чтобы мама собирала белье не только ему, но и мне и что сейчас же мы с ним вдвоем отправляемся в Центральные бани, где есть парилка и даже бассейн, в котором можно плавать.

— Неужели можно плавать?!

— Можно плавать! — закричал дядя. — И мы будем там плавать, а мама даст нам еще красненькую на пиво, и мы попьем пивка.

Мама казалась счастливой, такой я ее помнил до войны. Она смеялась. Зубы у нее были ровные, на левой щеке при улыбке появлялась ямочка.

— Только, пожалуйста, Николай, — говорила она, внезапно посерьезнев, — не давай ребенку алкоголя.

Мы ехали с дядей Колей на трамвае и на метро, и я немножко стыдился его оборванного вида. Отстранялся от него, будто бы еду сам по себе, а он, напротив, ничуть не тушевался. Потом мы с ним парились в бане, он мне дал отхлебнуть из кружки пива. Сидя в предбаннике на сложенном полотенце, дядя Коля рассказывал сгрудившимся вокруг него мужикам что-то военное, а когда надел костюм отца, то превратился в ладного парня.

Дома я уже не отходил от дяди Коли ни на минуту. Я даже сказал, что буду с ним спать, и, лежа на «гостевом матрасе» на полу, на теплой руке дяди Коли, уже засыпая, слышал, как мама и дядя Коля шептались через комнату о бабушке, о тете Нюре, о какой-то родне, которую я и не знал, а если и видел когда-нибудь, то не помнил.

На следующий день вечером мы с мамой провожали дядю Колю в Калугу. На вокзале он уговаривал маму: «Пусти со мной Диму. Ты сама мне читала письмо Нюры — пусть поживет у нее, она же согласна взять его на зиму. Ты пропадешь с двумя ребятами. А маму, — продолжал дядя Коля, — я, как приеду в Калугу и устроюсь на работу, возьму к себе. Она всегда мечтала жить не с вами, дочками, а со мною, с младшеньким. Нюре будет полегче... Давай я заберу Диму».

Мне и с дядей Колей хотелось поехать, и маму оставить было жалко. И так хотелось проехаться на поезде!

— Нет, Николай, сейчас это невозможно, — говорила мама. — У Нюры самой трое девок, мать живет... Они только что вернулись из эвакуации. Дмитрия я не пушу.

...Мы посматривали на часы. Дядя Коля стоял на подножке вагона ладный, в отцовской парадной шинели, в каракулевой серой шапке. Наконец паровоз гуднул, вагоны, залязгав, чуть тронулись. Дядя Коля поцеловал маму, нагнулся ко мне, и я почувствовал, что взлетаю!

— Не волнуйся, — кричал дядя Коля маме, держа меня под мышки.

— Дима, — кричала, смеясь и плача, мама, — ты уже большой, пиши мне письма.

Поезд вышел из-под вокзального ангара и пробирался через стрелки. Падал легкий снежок. Из вагона раздавались трели гармошки.

### Шипучие змеи

Если задуматься, как все же цивилизация сумела сохранить себя, несмотря на войны, разрушения, непонимание одного народа другим и смертельную неприязнь классов; если задуматься, как даже в огненные лихолетья, когда народ напрягал все силы, отстаивая само свое физическое существование, и, казалось бы, в тот период на что-либо другое, чем на борьбу и самосохранение, сил и не было; если задуматься над этим, то придешь к интересному ответу: в преимуществах быта, умении удержать навыки семьи, в поддержке каждой особи, чтобы она в голод и бездомие не опустилась до животного дремучего уровня, — в этом огромная заслуга женщин. С каким муравьиным упорством стремились они поддерживать хотя бы внешне привычный быт семьи. Будто бы в этом ритуальном постоянстве — залог возвращения в дом мужа или сына. Когда буквально нет крыши над головой, женщины так же методично заставляют детей чистить зубы, мыть руки перед едой, а ноги в ледяной воде перед сном, аккуратно, на тарелке резать хлеб, даже если это всего-навсего скромная пайка. В этом их поддерживает инстинкт и консерватизм женских привычек, но оборачивается все крепкими навыками, закладываемыми, несмотря ни на что, в следующее поколение, в их детей.

Сейчас, встречая дочерей тети Нюры из Калуги, уже взрослыми, пожилыми людьми, я поражаюсь той закваске, которую они получили от матери — тихой и незаметной женщины. Ее в доме-то не было видно, но она крепко держала семью своей мягкостью и терпением.

Калужский дом стоял на самой окраине, на берегу реки. На другом берегу виднелась деревенька с красивой церковью. Слева от дома, километрах в двух, был тогда наплавной мост, к которому меня раз принесло на лодке. Я отвязал соседскую лодку, желая немножко покататься по заводи, отталкиваясь шестом. Но шест оказался коротким и не доставал дна. Я долго боролся с течением в протоке, но все же лодку вынесло на стремнину и потянуло на глубину к мосту. К этому времени у моста оказалась бабушка (она зиму прожила с дядей Колей на снятой квартире, но дядя Коля запил, промотал последние вещи бабушки, и она вернулась к тете Нюре)... В руках бабушки на этот раз почему-то оказался прут, и этим прутом она гнала меня, ревушего, по дороге, к дому. Справа от дома, через реку, были набиты сваи, доходившие до фарватера, — остатки военного моста. Между двумя этими мостами находилась акватория моего детства. Самых счастливых, самых безмятежных дней в жизни.

Какой внезапной бомбой оказался я в небольшом бревенчатом доме на берегу! Меня надо было и положить куда-то, и накормить, и вымыть, и сходить со мною в школу. Наверное, дочери тети Нюры шипели на свою мать, что та согласилась взять меня к себе — по тем временам это был поступок грандиозного великодушия. Но этих подспудных девичьих неудовольствий я совсем не замечал. Я свободно чувствовал себя и дома, и на огороде, и в саду, и за столом. Только один раз тетя Нюра внезапно стукнула деревянной ложкой о столешницу:

— Молчать, змеи шипучие. Я здесь хозяйка. Сироту обижать не дам.

«Шипучие змеи» все вместе сделали для меня много добра, за которое я им, конечно, не отплатил. Каждая из них меня чему-нибудь научила или пыталась научить. Веселая и подковыристая Тамара — жалеть детей. В то время она только начинала свою работу воспитательницы в детском доме и рассказывала мне обо всех своих питомцах. Кого бросили матери. У кого нашлись родители.

Все это было очень интересно, и через нее я впервые учился сострадать.

Нина — терпению и самоограничению. Из обмолвок я понял, что у нее на фронте убили жениха. Нина работала в финотделе и, по-моему, уже тогда начинала учиться в институте. Ее зарплата и рабочая хлебная карточка имели для семьи большое значение. Ее всегда нагружали поручениями. Если болела бабушка, вызвать врача, сходить в аптеку. Вечерами Нина, если не занималась, то шла на семью. Несколько раз заходили кто-то из ее сверстников, уже вернувшихся по болезни с фронта, но у Нины не было времени с ними поболтать: или корпела над тетрадками, или строчила на швейной машинке. Мать ее, тетя Нюра, часто пыталась помочь ее встречам с парнями. Предлагала доделать, дошить за нее. Но у Нины было свое понятие долга. Этому терпению и ответственности она учила и меня.

Валентина — меньшая — из сестер самая незаметная. Да ее и трудно было заметить: целый день в ремесленном училище. Она ходила в больших бутсах и телогрейке. Валя научила меня копать огород, держать в руке молоток и пилить дрова. Я не любил ни копать землю, ни пилить дрова. Валя говорила: ты только поддерживай пилу, я буду ее тянуть. Я жаловался, что устал, и Валя старательно объясняла мне: что как бы ни скучна была тебе работа, а она всегда работа, от нее хочется отделаться, но ее надо делать, от работы всегда устаешь, но отдыхать можешь только когда совсем сил нет.

Три сестры, как добрые феи, наградили меня каждая своим, самым дорогим.

И все же не сложилась судьба у трех добрых фей. Нина вышла замуж только после сорока, за вдовца намного старше ее, со взрослыми детьми. Тамара родила ребенка и развелась с мужем. До сих пор она то сходится со своим Жорой, то расходится. А тем временем в этой личной неустроенности уже выросла у

нее дочь, и стала Тамара бабушкой, а все мыкается, ходит с чемоданчиком из одного дома в другой.

Заметил я закономерность: чем раньше на переломе юности застала человека война, чем больше он принимал участия в делах взрослых, тем меньше счастья дала ему судьба. Что-то обгорало у выходящих из юности, чем ближе они были к войне. В этом смысле самой младшей дочери тети Нюры повезло больше всех — хотя какое, казалось, в то время везение! После ремесленного ее распределили куда-то под Москву, на завод, и она уехала в своей телогрейке и тяжелых башмаках.

Через несколько месяцев, когда я уже был в Москве, она позвонила нам. Дома был только я и тут же отправился на встречу с сестрой. Она с подругами сидела на каменной балюстраде возле кассы на станции метро «Парк культуры».

— Здравствуй, Валя, — закричал я, — как я рад тебя видеть! Смотри, что у меня есть! — и показал ей маленький браунинг, который на компас выменял у ребят во дворе.

Валя сказала, что живет в общежитии, из метро они с девушками решили не выходить, боятся Москвы. Спросила, ел ли я сегодня. Потом достала из авоськи ломоть хлеба с салом и половину дала мне.

Лет через семь Валя выходила замуж, мы ездили к ней на свадьбу с мамой. Свадьба проходила в небольшом рубленом доме, возле нынешней окружной дороги. Женихом Вали был мощный парень, шофер Лёня. На свадебном столе стоял самогон и много студня. Чадно, бедно, неудобно. И ничего, казалось бы, не предвещало хорошей жизни. А повернулось по-другому.

Через год у них прибавлялось по дочке, пока не родился мальчишечка Сергей. Не так просторно было семье из шестерых человек в старом доме.

Лёня оказался малым надежным, заботливым. Деревянная халупка расширилась за счет пристройки. Жилось семье очень трудно. Валентине пришлось уйти с работы, чтобы управляться со своей армией, но к зарплате Лёни она прикладывала свой приработок. Возле дома был построен сарай, и там откармливались свиньи. Одновременно пять. Раз в неделю Валентина привозила из столовой отходы. Мясо этих свиней не шло на стол семьи — слишком дорого. Осенью, когда свиней забивали, Валентина отвозила все на рынок. Девочки подрастали, требовали модную одежду. Честно говоря, прежде, глядя на Валентину и ее семью, я всегда думал о социальной предопределенности. Но все повернулось несколько неожиданно. Старшая дочка Валентины поступила в институт, средняя начала работать наладчицей радиоаппаратуры и вскоре вышла замуж, младшая окончила медучилище и твердо решила стать врачом. А тут из хлева их маленького деревенского поселка, который давно обтекала Москва, ушла корова. Она побродила по оживленным окрестностям и вышла на центральную магистраль. Сразу же последовал приказ: в неделю жителей пе-

реселить, а поселок сровнять с землей. Валентина на свою большую трудолюбивую семью получила две трехкомнатные квартиры.

Я приехал на новоселье и обратил внимание, что нашлись деньжонки и на стенку, и на ковры, и на приличную посуду. Девушки и их парни были воспитанны, тактичны в разговоре, по-хорошему услужливы. Чувствовалось добротное домашнее воспитание, о преимуществах которого писал еще Чернышевский. Ну кто же этим девочкам, родившимся на окраине, среди шоферни и самогона, привил все это? И тогда я вспомнил ремесленницу в грубых бусах, учившую меня пилить дрова, и свою тихую, как мышь, тетю Нюру.

А в 1944 году в бревенчатом доме на берегу Оки жили очень целеустремленно. С утра тетя Нюра надевала плюшевый, на вате, зипун и несла на рынок молоко. Шла как молочница — бидон и корзина через плечо. Почти сразу же за ней уходила в свою ремеслуху Валентина. Потом Нина будила меня и наливала в таз теплой воды для умывания. Валентина следила, чтобы после гулянья, перед сном я валенки положил на печку и вымыл ноги. А еще перед этим мы с тетей Нюрой ходили доить корову. Она несла подойник, а я — фонарь «летучая мышь». Подойв корову, она доставала из кармана граненый стакан, наливала мне молока потихоньку «от девок» — молоко продавалось, чтобы платить налоги, подсобить денег на дрова, на одежду. Когда я уже был в постели, из кино или со свидания прибегала Тамара и так же потихонечку давала мне кусок пирога или полконфетки — то, что оставляла от своего ужина в детском доме. А иногда бабушка, слив вечером молоко из крынок в бидон, пальцем счищала с кромки крынок сливки и торжественно несла мне этот палец. Я облизывал его и удивлялся, какие у бабушки черные, с потрескавшейся кожей руки.

Так мы прожили зиму. Два раза Тамара водила меня в кино, а один раз Нина на утренний спектакль гастролировавшего тогда Ивановского театра музыкальной — на оперетту. Помню щегольски подвернутые голенища на мягких сапогах главного героя, холод в театре и неестественность всего происходящего. Еще я очень любил бегать к нашей соседке Люде — женщине лет, наверное, тридцати, жившей с очень старенькой матерью в засыпном, продуваемом всеми ветрами домике. Там мне разрешали листать тяжелые с картинками старинные издания Жуковского, Шекспира, Пушкина.

Но за время жизни в Калуге произошли два в моей жизни события.

Ранней весной приехал хозяин — дядя Федя, муж тети Нюры. Он постучал рано утром. Я слышал, как тетя Нюра пошла открывать и вдруг закричала. На ее крик сбежались «девки» в одних рубашках. Тогда и я решил выйти на кухню. Женское население дома облепило и целовало чужого небритого дядьку. Мне этот дядька не понравился, и я поду-

мал, что кончилось мое привольное житье. Но все обернулось удачно.

В тот день в школу я, конечно, не пошел. Единственный раз Нина сжалась надо мною. Валентина в ремеслуху тоже не явилась, Нина сбегала к телефону, позвонила своему начальнику и отпросилась, Тамару заменила ее подружка.

Сразу же утром, вскоре после приезда, дядя Федя принялся резать телянка. Теленок родился, на свое несчастье, за несколько дней до возвращения дяди Феди с фронта. Рожки у него еще не пробились. На затылке красиво лежали мягкие завитки. После появления на свет он жил в кухне. Он будто тоже обрадовался, что приехал дядя Федя, тыкался мордочкой в общую кутерьму и даже пытался сжевать у тети Нюры подол. За эту радость он и попал под нож. В оппозицию к этой идее стала бабушка. «Через пузо можно спустить все», — говорила она. Я хныкал: «Теленочка жалко, он еще может вырасти, мы потом лучше целого быка съедем». Но тетя Нюра ополоумела от радости: «Да он целый пришел, Федор-то, с такой войны пришел. А мы с вами для него, мама, куска пожалеем? Это надо отпраздновать, а уж как жить дальше, там будет видно. Проживем, не умрем».

По неизменной своей любви к новшествам я взялся помогать дяде Феде. Тетка дала нам тазы, ведра, и тут же в кухне мы теленочка и порешили. Я только обратил внимание, с какой точностью и простотой действовал дядя Федя. Для него теленок не был наделен красотой, беспомощностью, пониманием, доверчивостью.

И вот живое существо, не лишенное даже некоторого разума, которое могло стать сильным и большим и принести потомство, превратилось в мясо, требуху, печень, бульонку, язык и сердце. Мне теперь кажется, что тогда у меня мелькнула совсем не детская мысль: до чего же хрупка жизнь! Наверное, так и человеку: хватает лишь одного удара ножом, укола в бок длинным шилом, пули, воспаления легких...

Вечером мы сели за длинный стол. Все, что еще оставалось в загашниках, в погребе, в шкафах, было щедро выставлено; дымилась груды мяса, и тут дядя Федя потянулся за чемоданом, на который мы с утра жадно поглядывали. Щелкнули расpiraемые изнутри застежки, и чего только не оказалось там! Голову и плечи тети Нюры покрыл огромный с белыми кистями шарф. Бабушка получила кружевной пеньюар. Потом пошли: штука плотного шелка, пробитая насквозь плоским штыком, красивая кофточка, два махровых полотенца. Тамара засияла над туфлями, Валентине достались шелковые чулки, а Нине торжественно был вручен атласный до полу халат. Но Нина и испортила праздник. Сначала она поцеловала отца, а потом сказала: «Спасибо, папочка, за заботу. Ты на нас не сердись, но я не буду носить халат, а девочки не будут носить чулки и туфли. Ты помнишь, как у нас пропала корова? Мы ходили к людям, которые свели ее со двора. И люди что-то объясняли, а

мы хотя и радовались, что корова нашлась, но долгое время будто бы брезговали ею...»

За столом все замолчали. Дядя Федя сжался, тетя Нюра сняла шарф с плеч и аккуратно сложила его на коленях, а Тамара отставила туфли.

— Мы не будем, папочка, носить эти вещи, потому что они чужие... Пусть все носят, а мы носить не будем...

— Значит, я неправильно сделал, что привез себе двустволку, о которой мечтал всю жизнь? — спросил дядя Федя, и голос его задрожал.

— Ружье — это другое дело, — сказала Нина, — это оружие.

— Прекратите, негодяйки, учить отца! — закричала вдруг тетя Нюра и заплакала.

— Останешься ты, Нинка, вековухой, — вдруг улыбнулся, совсем не обидевшись, дядя Федя, — останешься вековухой из-за своей принципиальности. Давайте лучше выпьем со свиданьем, а после со всем и разберемся. Главное, мы все вместе.

Пока не повзрослел, мучился я потом этим вопросом: почему Нина не хотела носить такой прекрасный халат?

А через два месяца случилось другое событие. Кончилась война. Под утро вдруг от соседей кто-то забарабанил в стенку. Все немедленно проснулись. Бабушка в одной рубашке вышла во двор и сразу же вернулась.

— Хазаровы говорят, — сказала она, — что по радио передали, будто война кончилась. Левитан объявлял.

— Дима, — сказал дядя Федя, — пойдя постучи к Людке, скажи, что война кончилась.

Я вырвался из дома, перелез через забор и забарабанил в насыпной дом:

— Люда, Люда, война кончилась!

В это время от наплавного моста раздался громкий и настойчивый гудок катера.

Наша окраина откликнулась немедленно. У Базаровых вдруг кто-то закричал «ура!». На горе заверещали детишки и кто-то заплакал. Закричал петух. Испуганная шумом, долго и протяжно-изматывающе замычала корова. Наконец из дома вышел в брюках и нижней миткалевой рубашке дядя Федор и шархнул из двух стволов нового трофейного ружья. От церкви с противоположной стороны реки тоже раздался выстрелы. Война кончилась.

Мне было грустно. Мы с мамой с фронта никого не ждали. Но это было лишь минутное огорчение. Все радовались, и радовался я. Тут же я и смекнул, что в ближайший день-два можно будет по праздновать, и горечь от того, что в общей радости я оказался несколько обездоленным, рассеялась.

### Бабушка

С годами мы все больше и больше начинаем уважать последний и невозвратный обряд смерти. Она все ближе к нам, и к ней мы относимся спокойнее и тор-



жественное. Острее и чувство последнего долга. Если совсем недавно видели мы в необходимости быть на похоронах или панихиде некоторую досадность, прерывающую запланированное течение наших дел, теперь осознаем это как сопричастность нравственным устремлениям усопшей личности, ее жизненному подвигу. К сорока все меняется: ты можешь не прийти на день рождения, но обязательно придешь на похороны. Ценность человеческой жизни с годами неизмеримо вырастает в наших глазах.

О, как я корю себя сейчас, что не смог проститься со многими близкими мне людьми! Не нашел времени, чтобы съездить в Калугу на похороны тети Нюры и ее мужа Федора, не слетал во Владивосток, чтобы проститься с бабушкой...

Мне было тогда, наверное, лет двадцать пять. Я послал телеграмму, деньги на похороны. Как говорится, исполнил свой долг. Совесть меня не мучила. Но вот с годами понял, что личность бабушки, с которой встречался я, по существу, только в детстве, занимает все большее место в моем духовном мире. Я понял, что существует диспропорция между тем, что она дала мне для жизни, и той малой, часто корыстной любовью и привязанностью, которой я ей за это отплатил.

Я не был ее любимым внуком, а она неповторимой бабушкой, вроде лермонтовской Арсеньевой или няни Арины Родионовны. Но все же наступил в жизни момент, когда я побывал на ее могиле. Бабушка начала мне сниться, слишком часто я о ней размышлял, вспоминал ее слова, походку, наши с ней разговоры. А тут как раз подвернулась командировка во Владивосток. В обычное время я бы постарался избежать этой поездки — все-таки не шутка на самолете пересечь весь Советский Союз с запада на восток. Но я сказал себе: побываю на могиле бабушки.

Ее похоронили высоко, на сопке. С изголовья ее могилы, лежащей в коммунальной тесноте кладбища — ограды, кресты, остроконечные обелиски, — видно море: низкое, бесконечное, полное скрытой энергии и жизни. Рядом с бабушкой лежат ее сыновья и внуки: дядя Коля, о котором я уже писал, ее братья, их сыновья — и все это или детонирующая сила войны, или трагическая случайность жизни. И они все не пережили бабушку. Она легла уже к ним последняя. Я подумал в тот момент: как тяжело ей было, наверное, умирать, имея такой итог жизни...

Бабушка была человеком своеобразным. Она вышла замуж пятнадцати лет и нарожала столько детей, что сама путалась в их возрасте. Некоторые, правда, не пережили младенчества. Я помню, моя мать и тетки, когда-то сумевшие в дебрях прожитых лет, по паспортам несколько укоротить свой возраст, собираясь вместе, доказательно спорили не о записях дат в своих паспортах, а об истинно прожитых годах. Подсчеты шли приблизительно так: «За Васькой родилась Нюрка, за Нюркой — Тоська, за Тоськой — покойник Ванечка, а потом уже Зинка и Верка». И, оттягивая ближе к нашим дням дату своего рожде-

ния, кто-нибудь из спорящих вспоминал: «А между Нюркой и Тоськой был еще Гришка».

И бабушка согласно кивала: «Правильно, за Нюркой был и Гришка. Пятидневным скончался, я им не доходила».

— И еще была вторая Зинка.

— Правильно, была и вторая Зинка.

Меня удивляла эта естественность бабушкиной жизни, принимавшая в себя и смерть, как диалектический поворот ее развития: «Бог дал, Бог взял». С этой известной крестьянской формулировкой впервые познакомила меня именно бабушка — своей манерой думать, принимать судьбу.

В этом смысле судьба самой бабушки Евдокии поучительна как пример стойкого характера, всегда жертвенно-ровного и в моменты взлетов, и в моменты падения. С моей точки зрения, возможно перенесение замечания Пушкина: «Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязанья на успех», — на почти неграмотную старуху; они обе — дворянка Татьяна и ее крестьянская ровня — русские женщины, в их лучших и драгоценных качествах естественности красоты.

Крестьянские семьи в далекие времена бабушкиной молодости связывались на всю жизнь. Так и бабушка всю жизнь прошла рядом с дедом, пока тот без вести не пропал в войну. Дед был до революции машинистом на железной дороге, принимал участие в революции, был членом ВЦИКа — так назывался раньше Верховный Совет, — был председателем исполкома одного из сибирских краев, равного, как любили писать, Франции, Дании, Голландии, — большого края. Дед, как человек, преданный революции, рос до своих постов, учился, общаясь со своими товарищами по революции и работе. Бабушка всегда была с детьми, и только с детьми. Лишь однажды дед взял ее с собой в Кисловодск, в санаторий, как тогда говорили — на курорт. И всегда бабушка оставалась естественной, не изменяла ни своим принципам, ни привычке изъясняться.

В ее характере уживались бескомпромиссность и вера в Бога. Революция и «штунда» — так дедушка называл молитвенный дом баптистов, куда бабушка изредка ходила.

В «штунду» ходил с бабушкой и я. На меня не произвело большого впечатления совместное пение песен религиозного содержания, в церкви было богаче и интереснее. Бабушку, наверное, наоборот, привлекала спокойность, необязательность этого храма, молитва про себя, скромность. Когда я впервые в Калуге попал в «штунду», я подумал, что нахожусь на каком-то тайном сборище. В небольшой комнате с комодом, столом, подзором на кровати, на лавках, установленных как в кинотеатре, сидели люди и слушали докладчика, а потом все вместе пели песни. Это мне показалось похожим на революционный кружок начала века. По урокам истории эти кружки я представлял себе именно так.

Бабушка была почти неграмотной. С трудом расписывалась, немножко читала по слогам. Она, по возможности, меня подкармливала, затаивая для меня в карманах фартука то кусочек сала, то огрызок конфеты, то горсть черной смородины, а я ей читал вслух.

Вскоре после того как я оказался в Калуге, бабушка повела меня на базар, и там мы купили Библию. Книга была солидной, хорошо переплетенной, с красивым восьмиконечным крестом на твердой обложке.

Книга мне очень понравилась. Я уже слышал такие слова, как «Библия», «Ветхий завет», «Новый завет», уже по разговорам и замечаниям взрослых знал, что в ней много мудрости, но не предполагал, что мудрость эта в каких-то притчах, вроде сказок Гауфа.

В первый же день после покупки я с ученым видом сел на заваulinke, на солнышке и принялся читать. По привычке к целостности восприятия, я начал книгу с начала и тут же утонул в именах, которые я не мог запомнить, в коленях Адамовых потомков, а до понятной мне мудрости так и не добрался. И тогда вбивать в меня эту мудрость принялась бабушка. Изредка я, правда, читал ей некоторые сюжеты и притчи, но бабушка шпарила наизусть: «Не солги, не укради, возлюби ближнего». И как же она втемяшила это в меня! С какой ожесточенностью, увещеваниями и лозой. Бабушка была крепкая старуха и не стеснялась поднять тяжелую крестьянскую руку на плоть потомка.

С другой стороны, польза от наших с бабушкой совместных чтений открылась мне через много лет, когда я начал интересоваться живописью. Я научился получать от картин то высшее удовлетворение, которое складывается из возможности ухватить живописную форму выражения, сладость от понимания композиции, умение войти в эпоху художника, постигнуть иногда неброские реалии, которые он разбросал по полотну, но все это не существует без почти автоматического владения сюжетом. В те годы я гордился, что в Эрмитаже в залах Рембрандта я не прочел ни одного пояснительного текста к названию картины, развеивающего происходящее, — я все это помнил, пройдя с бабушкой в качестве внеклассного чтения сюжетнику Нового и Ветхого заветов. А сколько сносок можно было не читать у Пушкина, Гёте, Пруста! О, если бы такой домашний учитель в наши юные, сметливые лета проходил с нами и другие предметы, такие как английский и французский языки, этика поведения за столом, культура письма! Но будем благодарить наших бабушек и за то, что они нам дали: за их умение величественно жить и незаметно и неназойливо отдавать те знания, которыми они владели, и даже за суровую лозу в их руках.

Бабушка не была лишена и крестьянского прагматизма. Помню, на Сенном рынке торговали мы с ней, вернее, всем нашим калужским «колхозом»: и бабушка, и я, и тетка Нюра, и «шипучие змеи» — воз

сена для нашей Буренки. После переговоров и передачи определенных сумм из рук в руки воз сена был перевезен к нам во двор и свален. Но в сене нашелся и мешок, в котором оказались два каравай хлеба, кусок сала и несколько подовых пирогов. Бабушка обнаружила этот мешок и тут же сунула кусок пирога мне в рот. Остальное убрали на погребницу. Через несколько часов продавшие сено вернулись. И что же им ответила бабушка?.. Вместе с ними она копалась в сене, оглядывала двор, зачем-то заходила за поленницу, охала, сокрушалась, строила предположения, что мешок уронили где-то по дороге...

Когда продавцы ушли, я довольно ехидно спросил:

— Бабушка, ведь чужое брать не полагается, Бог накажет.

Бабушка, возложив на меня подзатыльник, резонно ответила:

— Это не чужое, дурья твоя голова. Это нам Бог послал на твоё сиротское пропитание.

Прощай, бабушка, пусть земля тебе будет пухом! Как спишься тебе там, на краю советской земли, у моря?

### Зойка

Уже в университете, читая Достоевского, я удивлялся постоянству зрительных ассоциаций. Узкая, с высокими ступенями лестница, скучное окно, грязно-серого цвета стены и перила из кованого железа. На поворотах лестницы перила скреплялись большими винтами. Затертые руками до блеска шляпки этих винтов пиялись, как глаза ростовщика. Если есть лестницы, на которых должны совершаться преступления, то черная лестница в нашем доме была одна из них. Казалось, она притягивала к себе все низкое, угарное. Комнаты с самыми несимпатичными мне жильцами выходили именно на нее. Исключение составляла комната Зойки.

Я могу по пальцам перечесть людей, оказавших безусловное влияние на формирование моего характера: здесь не будет ни любимой учительницы, ни университетского профессора, ни знаменитого артиста. Моя бабушка, мама, тетя Нюра, «шипучие змеи» — ее дочери, соседка в Калуге Людмила, позволявшая мне листать ее книжные сокровища, и соседка по особняку Зойка. Естественное, жизнь, встречи с людьми, постоянно, как гальку море, шлифуют человека. Но с именами этих людей связываю свое приобщение к духовности и пониманию искусства.

Зойку окружала таинственная и плохо проговариваемая история. Вроде когда-то вместе с матерью и отцом Зойка занимала в нашем доме большую комнату. Но к началу войны отца с ними уже не было, умерла и мать. Соседи предложили Зойкину комнату сменять на меньшую. А Зойку никогда, видно, не интересовал быт. Легче убираться! В сорок пятом году она уже жила в маленькой, как пенал, комнате. Сколько ей было лет?

Видимо, лет восемнадцать — девятнадцать. В войну она оставалась в Москве. Дежурила на крыше. Забросала песком зажигательную бомбу и была награждена медалью «За оборону Москвы».

В доме относились к ней как к своему человеку, но со странностями. И бытом, и комнатой, и обстановкой, и материальной непрактичностью она смущала соседей.

После войны во дворе на площадке перед гаражом устраивались танцы. Ребята приносили приемник с самодельным громоздким усилителем. Гремели вальсы Вальдтейфеля и Штрауса, довоенные песни Шульженко, трофейные фокстроты и любимая пластинка тех забываемых лет — танго из кинофильма «Петер». Дом от подвала до чердака шаркал по сухому асфальту.

«Танцуй танго, мне так легко». В этот момент мы представляли Франческу Гааль с белой хризантемой в петлице фрака.

Скучный военный и послевоенный быт требовал, хоть на время, роскошных иллюзий. Они заменяли многое.

Зойка на танцы являлась в ковбойке и с неизменной «беломориной» в левом уголке рта. И она тоже, как, наверное, многие на этом затанцованном асфальте, представляла себя изящной Франческой. Она хватала за талию какую-нибудь из девиц и молодцеватой походочкой летела из одного угла площадки в другой. На углу она разворачивалась и представляла партнершу идти, как в кинофильме, боком, легким кошачьим шагом. Девушка жеманилась, не понимая этой непринужденной и веселой игры, демонстрировала на лице отчужденность. Разные бабушки тоже были шокированы Зойкиной ковбойкой, папиросой в зубах.

Шло время, но в комнате Зойки ничего не менялось. Большое окно еще лет пять после войны закрывала бумажная светомаскировочная штора. Кровать и кушетка, между ними стол и в самом углу — единственное Зойкино достояние — этажерка с книгами.

Честно говоря, я даже не знаю, на что Зойка жила. Помогали ли ей родственники? Или существовала маленькая пенсия за мать? Иногда она подрабатывала на почте. Книги она покупала редко, но уже в то время у нее был весь Достоевский и весь Диккенс — ее любимые писатели. Зойке не хватало подруг, собеседников. И как-то получилось, что вокруг нее стали группироваться мальчишки. Эдик Перлин зайдет поиграть в шахматы, Виталька Милягин — поговорить. А мне уже тринадцать лет.

Зойка сидит за столом с книгой. Рядом с нею пепельница. Ее круглое, татарское лицо блестит. Возле левой ноздри черный пористый комочек бородавки. Большие серые глаза глядят печально и умно.

Зойка учится на заочном отделении филфака. Когда она занимается — неизвестно, но вроде перешодит с курса на курс.

Мне под вечер просто нечего делать, я зашел убить время, но у Зойки свои правила.

— Слушай, Дима, — говорит Зойка, — давай я тебе почитаю.

И она читает мне вслух одну, две, десять страниц из «Бесов» Достоевского, из «Идиота», подклеенного папиросной бумагой, из «Бедных людей» с ломкими, пожелтевшими страницами. Иногда она читает главы из Диккенса: «Жизнь Давида Копперфильда, рассказанная им самим», «Жизнь и приключения Николаса Никольби» и «Посмертные записки Пиквинского клуба»; в ее интерпретации — это новые произведения, хотя я и читал их раньше. Ничего почти не объясняя, она чистит произведение, как новогодний мандарин.

— Ты обрати внимание на юмор.

И зверь под названием юмор раз от разу становится для меня менее загадочным.

За стеной уже слышны «Последние известия». Того и гляди, меня начнут разыскивать, но Зойка неумолима.

— Теперь сам, Дима, прочти страничку из прекрасной книжки «Невидимки за работой». Правда здорово?

Как же много книг у нее помешалось на этажерке! Или, может быть, их казалось много, потому что все это были тома освоенные, хорошо известные владелице? Она ориентировалась в них, как крестьянка в огороде.

Уже в то время дала мне Зойка урок книжного собирания. А жизнь с ее модой на дефицит подгоняет: бери, что дают! А зачем? Мы покупаем книги, которые уже не успеем прочесть. Ведь бумага современной книги рассчитана на жизнь в два-три десятилетия.

Часто в спорах о возникновении книжного дефицита ссылаются на одну распространенную издавна традицию: семейные библиотеки, складывающиеся годами. Всё правильно, кроме одного: это были прочитанные и освоенные библиотеки. И когда в писательской «Книжной лавке» мне хочется взять очередной вышедший том, напрямую своим содержанием не затрагивающий моих читательских или писательских интересов, я вспоминаю Зойку, которая, наверное, могла бы вынести свою библиотеку на плече.

Человек должен быть свободен. И вообще, какую удивительную скромную жизнь вели русские интеллигенты еще совсем недавно. Как были свободны от быта, от ненужных вещей. Почти, по сегодняшним меркам, бедные, с непарадной мебелью комнаты дома в «Ясной Поляне», комната Ленина и Крупской в доме на Широкой улице в Ленинграде с этажеркой в углу, обстановка в Михайловском под Псковом.

И явление это, видимо, было интернациональным. Тут же по ассоциации вспомнил загородный дом Гёте в Веймаре — его личный, не парадный дом первого министра Веймарского герцогства, первого поэта Европы. А сейчас мы не можем поехать за город на три дня, потому что некому отдать для призора праздного кота, потому что в субботу придет агент

по страхованию имущества или надо на лето перетрясти и засыпать нафталином зимние шубы и ковры. Многовато быта! Музейные изыски современных жилых интерьеров — это достижение наших дней. Опыт показал, что простенькие, с картинками на стенах и портретами единомышленников и родственников комнаты скорее становятся музейными. И все чаще я размышляю о скромной библиотеке в комнатке как пенал, двери которой открывались на безобразную лестницу с железными перилами.

Глаза у меня слипаются, но за гостеприимство я еще не заплатил. У Зойки сложные отношения на факультете с преподавателями и студентами. Она рассказывает мне о них. Неожиданно я нахожу психологические мотивировки чужим взглядам, жестам, поступкам. Так мы сидим и беседуем. Десять страниц Достоевского или Диккенса и неспешный разговор. Тогда еще не была известна и не вошла в моду знаменитая максима Сент-Экзюпери о «роскоши человеческого общения». Но словечко «общение», видимо принесенное Зойкой из университета, порхало по нашему дому.

К самому «общению» Зойка относилась свято, щедро, я бы сказал, истово. Она заводила разговоры о психологизме Толстого, юморе Диккенса или особенностях личности Достоевского независимо от того, кто был ее гостем. Тут же она могла начать цитировать, наизусть читать или воскликнуть: «Сейчас я вам прочту двести семнадцатую страницу «Бесов». Все свои избранные места в произведениях писателей, хранившихся на этажерке, она знала по номерам страниц. С этими разговорами Зойка подходила ко всем, независимо от одежды и образования, — это была какая-то радостная презумпция интеллекта в человеке.

Один раз, когда сидел я у Зойки в гостях, зашла мама: «Дайте-ка я посмотрю, чем вы занимаетесь». Зойка свернула свои университетские исповеди и начала веером пушить хвост перед мамой. Она читала Достоевского, говорила о юморе Диккенса, о Фрейде, то есть обо всем том, что, по моему убеждению, являлось средоточием человеческой мудрости и пиком интеллектуализма и интеллигентности. По лицу мамы, по ее вежливой улыбке я понимал, что было ей это неинтересно, она всего этого не понимала. И мне тогда стало горько, неловко за маму. Но это был единственный случай в жизни, когда ореол мамы чуть дрогнул.

Зойка была поразительным собеседником. Тогда мне трудно было судить, насколько мысли, высказываемые ею, были оригинальны, но каскад их был изумителен. Я ожидал, что со временем Зойка проявит себя в науке, в литературе. С годами моя опытность сделала поправку на восторженность юношеского восприятия, и нимб Зойки чуть померк, но все равно долгие годы я следил по специальным журналам и карточкам рефератов, не мелькнет ли где-нибудь ее фамилия. Нет, с грустью говорю, нет. Видимо, вся она ушла в эти бесконечные, такие волну-

ющие в настоящем времени разговоры. Но все равно, как прекрасно, что такие люди есть, что они несут в себе заряд истинной интеллигентности и бескорыстной любви к знанию.

Прощаясь с Зойкой, я хотел бы еще раз отметить две черты в ее характере. Первая — искренняя любовь к книгам.

И вторая. Она была страстной москвичкой. Когда в середине шестидесятых годов начали тормозить наш особнячок, забирая его под посольство, то все мы, жильцы, намучившиеся в тесноте, готовы были ехать хоть на край света, лишь бы в отдельные квартиры. По-другому поступила Зойка: «Только в центре старой Москвы, пусть будет и общая квартира — я привычная». Привычке жить рядом с большими библиотеками, театрами, музеями она не смогла изменить и тогда.

Духовное для нее опять оказалось на первом месте.

### Знакомые брата

...И у брата появились во дворе друзья. Это были его ровесники, и вели они жизнь таинственную, отличную от жизни моих сверстников с казаками-разбойниками, поездкой на купание в Серебряный бор и устройством внутреннего телефона между вторым этажом и подвалом, то есть между мной и Абдуллой. Товарищи брата ходили в белых пыльниках и белых шарфах, умели сплевывать между зубов так, что слюна тонкой струйкой летела на несколько метров, курили папиросы, сверкали золотой или стальной коронкой на переднем резце, носили веселую кепку-восьмиклинку с маленьким козырьком и кнопочкой на макушке.

У этих ребят были собственные дела и развлечения. Но любимым было стоять возле ворот и разговаривать на своем, только им доступном языке. Целый ряд понятий и выражений здесь имел другие звуковые огласовки: справка называлась у них «красивой», разговор — «феней», ботинки — «прохорями», девушка — «марухой», для слова «есть» нашелся глагол «рубать», а разговаривать значило «ботать».

В компании у ворот были и девушки. Девушки не стеснялись в выборе слов, пили, как и ребята, водку. Старшие ребята вместе с девушками уходили на чердак или в сарай, выходили оттуда растрепанные, в пыли и паутине. По рассказам мы уже знали, что там происходит, и иногда мы, малышня, цинично об этом рассуждали, называя некрасивыми и грубыми словами. Но я думаю, что большинство моих сверстников не очень-то верили в то, что говорили, я даже считал, что это какая-то словесная формула и что взрослые ребята не могли совершать такие некрасивые, смешные действия.

Компания вела веселую, похожую на взрослую жизнь. Один раз я даже приобщился к ней. Брат расщедрился и устроил мне праздник. Тогда я впервые

узнал, что и в послевоенное время какие-то люди в Москве могли жить менее трудной и монотонной жизнью. Что существовали и тогда возможности, о которых я не мог и предположить.

Во-первых, брат впервые в жизни провез меня в такси. Это был большой легковой автомобиль «ЗИС», ходивший по Садовому кольцу. Потом я впервые попал в купеческую роскошь Сандуновских бань. Узнал, что не обязательно тащить с собой полотенце, а можно взять у банщика простыню, да не одну.

Потом брат предложил мне съесть мороженое, продаваемое по коммерческой цене, но, зная стоимость этого лакомства, я отказался. И, наконец, закончили мы этот сказочный день просмотром фильма Эйзенштейна «Александр Невский».

Всё это стоило, с моей точки зрения, огромных денег и было вершиной роскоши. Я только не понимал, как брат может тратить такие деньги, когда мама ходит продавать пирожки, выдаваемые ей на работе, чтобы потом на эти деньги купить хлеба.

Знакомства эти неожиданно отразились и на нашей семье. Из дома начали пропадать вещи. Мама несколько раз говорила с братом. Но что она могла сделать? Иногда к нашей двери подходили его друзья и вызывали брата, он не шел, тогда эти ребята цедали угрозы и уходили.

Наконец брат заявил маме, что уезжает в Мурманск поступать в матросы. Он бросает учиться и будет ловить рыбу. Мама проплакала всю ночь. Я тоже не мог спать и плакал вместе с ней. Но брат уверенно посапывал на своей кровати.

— Ну, что я могу с ним сделать, Дима, — говорила мама. — Я не справлюсь с ним.

И все-таки мама, видимо, что-то предприняла. На следующий день у нас в доме появился Николай Константинович, наш спутник, который когда-то вместе с нами ездил на свидание с отцом.

Он мне показался еще более некрасивым, чем раньше. Большой нос как-то особенно выдавался, а из-под густых пшеничных бровей жгуче горели светлые глаза в глубоких глазницах. Как всегда, он был по-петербургски вежлив, сел только тогда, когда села за стол мама, и не притронулся к чашке чая, пока она не подняла своей. И я и брат ждали, что он придет не случайно и будет говорить о рыбацкой службе брата, и предполагали, что будет он это делать со старомодной вежливостью. Вначале так и началось. Брат тут же засопел и сказал, а какое вам, дескать, собачье дело? Кто он ему, брату? У него, у брата, дескать, есть еще отец. И он отцу напишет, что всякие посторонние люди приходят к нам в дом.

И тогда очень вежливый Николай Константинович вдруг протянул руку, схватил моего брата за ворот рубашки и, не вставая из-за стола, приподнял его. Мама закричала, а Николай Константинович, наоборот, очень тихим, проникновенным голосом сказал:

— Вот что, молодой человек. Ни в какой Мурманск ты не поедешь, но из Москвы, от друзей, мы

тебя уберем. Сегодня же вечером ты поедешь на поезде в Саратов. Мой друг — директор геодезического техникума, и ты будешь учиться. Понял? А если еще раз... Ты ведь больше не будешь маму обижать? Ты меня понял? А сейчас мы с твоей мамой поедem на вокзал, за билетами, а ты пока собирайся.

Из предосторожности взрослые закрыли нас в комнате. Я слышал, как ключ повернулся в замке.

Честно говоря, я удивился, как спокойно и даже с облегчением брат принял это пленение.

Мы не были любящими братьями, и от старшего мне частенько доставалось самым жестоким образом в ответ на мои попытки навести справедливость. Кроме того, я эгоистично ревновал маму ко всем, даже к брату. В обоих случаях отъезд брата облегчал мою жизнь и маму делал только моей. Но я не хотел ждать ни минуты.

Оставшись с братом в квартире, я лицемерно посочувствовал ему и выдвинул такое предложение: очень спокойно можно вылезти из форточки и по карнизу дойти до окна вестибюля. К моему удивлению, брат не выказал желания спускаться по веревке из окна, как протестант Фельтон из «Трех мушкетеров». Он, видно, был напуган своей компанией.

А я до сих пор корю себя за это предложение: оно было одним из самых подлых, продиктованных эгоизмом, поступков в моей жизни.

### Мои друзья

У меня тоже появилась своя компания. Как-то постепенно друзья, с которыми я вместе играл в казаки-разбойники и посещал палатку утильсырья возле Тишинского рынка, отошли в сторону, и открылись другие горизонты, появились другие друзья.

Собственно, школьных товарищей у меня не было. Смириться с ролью школьного «середняка» я не мог, а авторитет школьной личности всегда зиждется на двух моментах: или ты отличник, и в силу того авторитетен, потому что где-где, а уж в классе известно, как нелегко стать отличником, либо ты силач, бесшабашный парень, свой авторитет утверждаешь кулаками и во имя его подставляешь дома задницу под ремень.

В школе меня недолюбливали. Я плохо учился, неохотно «стыкался» со сверстниками. Школьная наука мне казалась скучной, лишенной воображения. Подделка «под жизнь» арифметических задач с их бассейнами убивала меня бессмыслицей. Всего этого я не мог себе представить и скучнел перед этой арифметической гидравликой. Лишь алгебра восхищала меня логикой и отсутствием лицемерия. Выдуманная игра с вымышленными же, но твердыми правилами.

Самым ужасным испытанием были русский язык и литература. Мы изучали «шик» и «чик» — суффиксы, похожие на птеродактилей; разбирали правила, у которых было исключений еще больше, чем «легитимных» моментов. А эти стишки из букварей моего

детства, написанные никому не известными, кроме кассы «Детгиза», поэтами, и примерчики, вроде «Маша любит маму»!.. Ну и люби на здоровье, какого черта кричать об этом каждому первокласснику? Чья мама? Какая Маша? Сколько Маше лет?

Посмотрев как-то мой диктант, полный кровавых следов учительского карандаша, Николай Константинович сказал: «Этот мальчик оказался не по зубам академику Щербе. Пусть каждый день переписывает по страничке из «Записок охотника». — «А можно из «Трех мушкетеров»?» — спросил я. Николай Константинович ответил: «Ты слишком шустрый мальчик, чтобы быть отличником. Может быть, твоя стезя — самообразование?»

Как ни странно, Николай Константинович оказался прав. Даже в университете мне легче было прочесть десять томов рекомендованной, но необязательной литературы, чем один обязательный учебник. Любая интеллектуальная унификация вызывала у меня сон и апатию. Я горжусь тем, что не открыл ни одной хрестоматии, ни одного учебника, кроме учебника по старославянскому языку, но должен сказать, что жизнь меня миловала и подбрасывала мне только нужные книги. У меня сложилось впечатление, что вообще-то судьба заранее распланировала мне путешествие по жизни, составила точный маршрут, закупила билеты из пункта «А» в пункт «Б», потом в пункт «В» и т. д. Но в последний момент билеты посыпались у нее из рук. Она собрала их в колоду и кинула мне; так я до сих пор и езжу, не потрудившись как следует разобраться в маршруте: из пункта «А» в пункт «Д», из «Д» в «Б». Но и здесь она меня не оставляет...

Первой «толстой» книгой, которую я прочел и порекомендовал товарищу для внеклассного чтения, был «Милый друг» Мопассана с отчеркнутыми мною избранными страницами. Разгневанная интеллигентная мама моего товарища сделала моей маме серьезное предупреждение. В силу этого я внимательно перечел книгу. Но как же мне после этого было не верить в судьбу, когда через четырнадцать лет профессор Самарин потребовал от меня на экзамене доложить ему проблематику и художественные особенности именно этого произведения. Подумаешь! Когда знаешь текст, то и особенности с проблематикой — тьфу!

С любовью к самообразованию я не мог стать баловнем школы. Из всех школ, в которых я учился, помню лишь одну учительницу — Серафиму Петровну, научившую меня читать, да Борю Глебоспаского — прекрасного парня из генеральской семьи, дружившего со мною, неудачником и двоечником, с первого по четвертый класс, а потом после школы — с перерывом на армию — и всю жизнь. Помню также учительницу в восьмом классе школы рабочей молодежи Тамару Ивановну. Ей я тоже обязан тем, что пишу эти записки.

Мой восьмой класс школы рабочей молодежи был первым ее классом, который она получила по-

сле окончания университета и, как преподается литература, по-моему, не имела ни малейшего представления. И вот с перепугу, а еще и потому, что у нее начинался роман со старшиной милиции из нашего же класса, она и начала нам тарабанить, как на университетских лекциях. Будто бы мы все знаем об этих «образах» и «образáх» и она только приводит нам все в систему. На такой безумный поступок я не мог не ответить доблестным трудом. Сердце мое забилось в унисон с великой русской классической литературой.

Вот, собственно, и все, что я помню о школе. Здесь и ответ — почему в школе не было у меня друзей.

...В дружья я выбирал людей, которые меня лучше знали, надеялись на мое будущее. Я всегда был твердо уверен, что не способен сразу покорить человека, очаровать — свойству этому я всегда завидовал: моя сила — разделить с человеком духовный мир, доверить ему сомнения, планы. Так я всегда сам думал о себе, но очень удивился, когда подтверждение моей мысли услышал из уст старой журналистки: «Диму можно полюбить или с первого знакомства, или очень хорошо его узнав». А уж кто меня знал лучше моих сверстников по дому?

Постепенно и у меня в новом доме откristаллизовывалась своя компания. Главой ее оказался Витька Милягин. Главой потому, что он был самый из нас блестящий, и потому, что он был хозяином «хаты».

Витька появился в нашем доме позже, чем я, где-нибудь году в сорок восьмом. Он ходил (хоть и пацан!) в кожаном коричневом пальто, в прочных офицерских сапогах. Это вообще была униформа семьи: так же одеты были его мать, отец и сестренка. Вся семья была очень таинственная. Они отчужденно, в кожаных регланах, проходили нашими коридорами и исчезали в своей комнате на втором этаже. Там же за невысокой перегородкой находились у них раковина и кухонный стол с электроплиткой и керосинкой. Когда семья возвращалась домой, то никто из них не выходил из своей комнаты. У них даже был собственный телефон — третий в доме.

К тому времени я узнал, что семья эта — старые жители дома, но несколько последних лет были в командировке в Туве — в те годы у черта на рогах, почти «за границей». У них оказалась зимняя дача под Москвой, и года два Милягины жили там, спасаясь от московской скученности. Я все время думал: такой же, как и я, по возрасту парень уже побывал в Туве. И еще я никак не мог забыть, как из-за стекол очков взглянули на меня неестественно синие, почти черного цвета, глаза Татьяны — сестры Вити Милягина.

Года через два или три, когда Тане и Виктору стало трудно учиться за городом, родители переселили их в Москву. И опять я был в восхищении — подумав только, мои сверстники, им всего лет по четырнадцать, и уже одни живут в Москве.

Сначала в дом Милягиных втерся я, потом Эдька Перлин, умница, шахматист и скептик, потом при-



шли друзья из Виткиного класса: Юра Шмелев, Гарик Опенченко и Костя Тихоненко, житель высотного здания.

Появлялось много других ребят, но они как-то не выдерживали высокого и светлого духа компании, а эти остались, видимо, потому, что тоже разглядели темные, почти черного цвета глаза за стеклами очков. К этому времени мои бесконечные перемены школ превратили меня в окончательного двоечника, да и жить не становилось с каждым днем легче, и пришлось подрабатывать: разносить газеты по утрам, клеить бумажные цветы, заворачивать в целлофан этикетки — прибыль, исходивший от какой-то надомницы-маклерши... Из-за всего этого я перешел в школу рабочей молодежи. Только мама все равно в меня верила, да и я верил в себя.

Но как трудно было эту веру отстаивать в моей компании!

Как восхищался я своими новыми друзьями и как им завидовал... Завидовал их здоровым семьям, тому, как многое они успели узнать, их занятиям спортом. Я смотрел на них, и каждый мне казался гением, способным украсить этот мир. Витя к восьмому классу завоевал первое место на московской олимпиаде по математике. У Эдьки Перлина уже было авторское свидетельство по каким-то радиodelам. Крепыш Юра Шмелев был перворазрядником по гимнастике, Гарик Опенченко, кроме немецкого, учил «для себя» еще и английский язык, а Костя Тихоненко, высокий, чуть угрюмый парень, был просто взрослым. Я завидовал его большим рукам с черными волосами на запястьях и тому, как он небрежно, не глядя, мог перебирать струны гитары. Что я мог противопоставить этим ребятам?

К Виктору все сбегались часов около семи. Никто никого не организовывал, и хозяин никого не занимал. Кто-то сразу вис на телефоне, кто-то читал, кто-то ловил зарубежную станцию на довоенном приемнике. Костя пощипывал у гитары струны.

Через часок появлялась Зойка, вооруженная цитатами из Достоевского. Она любила быть в центре внимания. Все тесно усаживались на маленьком диванчике с высокой кожаной спинкой и круглыми откидными валиками.

Какие прекрасные мгновения духа! Мы почти никогда не ходили вместе в походы, не сидели с обалдевшими рожами среди незнакомых чужих родственников на днях рождения друг у друга, но эти минуты на диванчике давали нам с избытком ощущение полного доверия, честности и счастья.

Я затрудняюсь рассказать, о чем же было переговорено. Обо всем, что успел узнать шестнадцатилетний ум и схватить цепкая и жадная память.

Все вместе мы умудрялись пропустить через наши «семинары» даже те проблемы, о которых наши сверстники вряд ли имели представление. Мы говорили о Достоевском, о Фрейте, о Винере, о художниках-абстракционистах, о художниках-реалистах, о романе Дудинцева «Не хлебом единым», о стихах

Ахматовой, которые осуждались, но при этом читались наизусть.

Какая-то прелестная чертовщина царила в этих разговорах. Мы с остервенением бились за выводы, которые тут же оказывались никому не нужными, и победитель в споре говорил побежденному: «Ты знаешь, я, кажется, был не прав». Мы все любили друг друга и доверяли друг другу. У каждого из нас в семьях произошли таинственные истории, но они духовно не коснулись нас. Мы верили в символы и слова, о которых нам говорили в детстве, и чувствовали себя чистыми, а значит, и невиновными.

Мне было труднее всех в этой компании. За каждым стояли общепризнанные результаты, победы и достижения. Каждый мог бросить на стол эквивалент своего социального авторитета. Виктор свои грамоты, Юрка свой значок перворазрядника, Гарик мог тут же перевести статью из «Дейли уоркер», Костя меланхолично перебирать струны, жить в пятикомнатной квартире в высотке и никогда не говорить о своем отце, известном авиаконструкторе и лауреате многих премий — мы и так об этом знали. Чем мог я отплатить своим друзьям?

Издredка я отдавал им на растерзание какое-нибудь стихотворение.

Я выбирал конец вечера, когда споры уже утихали, и доставал из кармашка курточки лист бумаги с написанным стихом. Что-нибудь близкое нашим сегодняшним настроениям, с узнаваемыми деталями.

Ребята по своему складу были техниками, не гуманитариями и поэтому все, что связано со словом, воспринимали трепетно, как чудо.

Иногда я творил для них импровизацию. Это несложно, если делаешь заинтересованно, по-настоящему. Ты настраиваешься как бы на определенный транс и бросаешь в воздух слова, связанные общей идеей. Главное здесь — идея. Если, начиная импровизацию, ты знаешь, чем она закончится, веди себя смело. Мне это всегда было несложно.

Я читал свои импровизации обычно под конец вечера. Меня хвалили. Татьяна уходила за перегородку ставить чайник. Потом за перегородку уходил Костя Тихоненко, помогать Татьяне. В комнате мы продолжали спорить о наших проблемах, а из-за перегородки доносились позвякивание чашек и рокоток Костиного баса. О чем они с Татьяной всегда так долго и таинственно говорили? Но тогда мы не могли и подумать, что Татьяна, которая всех нас моложе, давно старше нас. Мы и представить не могли, что у них вдвоем есть какие-то более глубокие и серьезные разговоры. Кто же мог знать, что сжигающий Костин взгляд означал боль не юношеской влюбленности, а любовь. Любовь до последнего предела...

Потом мы все пили чай, и после чаепития Татьяна пела. Это был первый замечательный женский голос, услышанный мною не по радио.

То было время безоговорочного царствования на волнах эфира песенки Герцога, арии Жермона, кават-

тины Розины, арии Ленского, полонеза Огинского, хора «Славься» и полонеза из «Ивана Сусанина». Прекрасные, но привычные места мировой культуры. Изредка в этот традиционный набор вклинивался дивный густой голос Надежды Андреевны Обуховой, и тут мы что-то узнавали не только о герцогских, но и о наших сердцах. А наши юные сердца так страдали от невысказанного, так ждали простых и теплых слов о наших жизнях, чтобы, вкладывая в песни свое значение и свою боль, объясниться с любимыми и с сегодняшним миром.

Татьяна брала у Кости гитару, закидывала ногу на ногу и, глядя ему в глаза, начинала «Калитку».

«Лишь только вечер опустится синий...» Ее низкий, бесконечно женственный голос будто бы обращался к каждому из нас. Но Татьяна знала, на ком испытывать свою силу. Пела она всегда Косте.

Что же произошло потом у них? Может быть, Костя был с нею груб однажды? Или сделал ей предложение и она отказала? Или Татьяна сказала, что не полюбит его никогда? Мы так и не узнали. Но однажды летом услышали трагическую весть: Костя Тихоненко застрелился из охотничьего ружья. Дома. В высотном здании.

После этого целый год Татьяна не пела.

### Смерть мамы

...Мама заболела перед моим отъездом в Америку в командировку. Сначала у нее был грипп, воспаление легких. Через день я заезжал к ней, ходил в магазин, заезжали жена, брат. Потом дело пошло на поправку, мама стала выходить, и в поликлинике ее послали на рентген.

Я проплакал всю ночь, когда привез домой ее большие снимки. Так случилось, что накануне проездом в санаторий у нее остановился племянник из Владивостока. Он посмотрел снимки и первым сказал: «Плохо». До этого все врачи оставляли мне надежду: атеросклероз. Маленькое беленькое пятнышко почти посередине снимка. Его можно было закрыть десятикопеечной монетой.

— Готовься к самому тяжелому, Дима, — говорил мне двоюродный брат, — если это центральный рак, он неоперабельный, не поддается химиотерапии. Будь мужественным...

— Но, помилуй бог, Слава, — говорил я, в своей аргументации пытаюсь связать трагический жребий болезни с логикой, — помилуй бог, откуда у нее взяться раку? Ты знаешь маму, за всю жизнь она не выпила и двух рюмок вина, не выкурила ни одной сигареты. У нас ни у кого в роду рака не было. Ну ни у кого. Посмотри, Слава, на снимки еще раз, все-таки это атеросклероз. Ты же все знаешь о маме. Посмотри на косвенные признаки, симптомы, анамнез. Было воспаление легких, два за зиму, образовалась спайка, склера. Будь логичен.

— Это очень похоже на склеру, Дима. Я вижу у тебя на столе и справочник практического врача, и

популярную медицинскую энциклопедию. Ты хорошо, Дима, ко всему подготовился. Я тоже надеюсь, что это атеросклероз, но, думаю, это рак.

Я плакал всю ночь. Слава лежал на раскладушке в большой комнате, а я на диване. Мы погасили свет. Сознание судорожно прокручивало аргументы, подтасовывая желаемое решение: ну, есть слабость, ну, есть на рентгеновском снимке пятнышко неясной этиологии, но ведь мама ест мясо, черный хлеб, все делает по хозяйству — при раке у больного, говорят, бывает отвращение к мясу. Я вспоминал болезни всех родственников, линии наследственности маминых братьев и сестер. Все были сердечники, гипертоники.

Изредка за стеной у соседей слышался бой часов. Слава окликал меня:

— Ты спишь, Дима?

— Нет, не сплю.

— Ну, давай покурим.

В темноте мерцал уголек сигареты.

Видимо, мама чувствовала, что мы не спим. За тонкой перегородкой раздавался шелчок: она зажигала свет, смотрела время, потом снова шелчок — гасила лампу.

В шесть часов я поднял задремавшего Славу. Он не стал завтракать, не стал прощаться с мамой, а на цыпочках прокрался в прихожую. Я открыл дверь. Он обнял меня и шепотом сказал: «До свиданья, Дима. Будь мужчиной и будь мужественным. Не плачь. Береги себя. Тебе еще много придется испытать».

И я все-таки не поверил брату. Через несколько дней благодаря приятелю устроил маму в клинику научного института. Я наивно думал, что энергия, приложенные усилия не должны пропасть зря: «лучшие» врачи, «лучшее» питание могут победить болезнь. И я надеялся на другой диагноз.

Я переволновался в день, когда маме делали бронхоскопию. В общем-то не очень трудное исследование, когда под наркозом больному вводят через горло особую подвижную трубку и через нее осматривают пораженный участок. Я представлял, как мама, собрав все свое мужество, идет через коридоры института, ждет своей очереди у кабинета, думает о том, чтобы это началось скорее и скорее закончилось, и одновременно мечтает отдалить этот миг. Совсем уже, в общем, немолодая женщина. Какие мысли пронеслись у нее в сознании! Господи, что же крылось в этот момент за ее высоким, белым, почти без морщин лбом?

Уже позже я узнал, что мама отказалась от последнего, решающего этапа исследований — бронхографии.

Я сидел возле ее кровати в общей палате и уговаривал ее. Она была слаба, но, как всегда, не показывала своего реального состояния. Просила меня подождать в коридоре и не входить, пока не причешется и не подкрасит губы. Лежала всегда в отглаженной кофточке. И, как всегда, пользовалась какой-то мистической властью над палатой, над окружающими.

— Ну почему ты, мама, не хочешь делать эту чертову бронхографию?

Она улыбнулась. Взяла меня за руку, и в глазах у нее даже блеснула веселая искра.

— Я старая женщина. Хватит мне мучиться. Я в этих процедурах растеряю всю свою красоту. Нет у меня рака. Нет. И я убедилась: вот вчера съела сосиску, а сегодня женщины угостили меня селедкой, и врачи мне совершенно определенно заявили: нет у меня, дурачок, рака.

В больнице мама научилась вязать какие-то немыслимой тонкости платки. Возле нее на тумбочке лежали спицы с начатой на них кромочкой. Мама взглянула на свое рукоделие и сказала:

— И вообще, надоело мне видеть твое постное лицо, сынок. Отправляйся-ка в командировку в Америку. Ты здесь и себе портишь настроение, куksiшься, и мне. Езжай спокойно. А когда вернешься, я уже платок для твоей жены свяжу.

Прежде чем все же согласиться на эту командировку, я поговорил с врачом, делавшим исследование. Молодая женщина сказала мне, что, по ее мнению, в легких была определенная картина атеросклероза, но все же ей показалось, что бронхографию, подтверждающую окончательный диагноз, необходимо провести.

Мама была категорически против. Уже после ее смерти мне рассказал мой приятель-врач, через которого я и устроил маму в институт, что он часто заходил к ней в палату и они подолгу разговаривали. Ему мама призналась: «Я знаю, что Дима очень хотел побывать в Америке. А если результаты исследования оказались бы неблагоприятными или просто сомнительными, он бы не поехал. Он бы не поехал, я его знаю...»

Мне она в тот день сказала:

— Езжай спокойно! Ничего со мной страшного нет, а если бы и было, даю слово, до твоего возвращения я не умру. Езжай спокойно в свою Америку, Северную и Южную. Твоя печальная рожа, — мама улыбнулась, — уже очень немолодая, но на которой с детства все было всегда видно, твоя дорогая, но немолодая рожа, сынок, мне уже поднадоела, она меня расстраивает, огорчает, езжай и скорей возвращайся, нам еще о многом надо сказать друг другу и многое сделать.

...Что меня таскает по всему миру? Жадность глаз, которая повелевает запечатлеть на сетчатке весь божий мир? Да ведь мне уже легче сказать, где я не был, чем где я был! Ну не был в этой чертовой Америке, и черт с ней! Убудет ли меня от этого? Чего я ищу в этих передвижениях? На какой вопрос пытаюсь дать себе ответ? Ведь я уже знаю все эти ответы. Работать, работать, работать и чувствовать себя малой частичкой большого целого, которое называется Родиной. И притом любопытство, поиск новых обертонов, уточнений этому решению. Поиск нитей, протянутых искони, со дна минувших веков и культур.

Обходятся же все малым простым знанием о своем доме, соседях, ценах на рынке. Что из того, что я, задыхаясь в разреженном высокогорном воздухе, три квартала протащился от гостиницы в Куско, когда-то древней, а теперь выжженной дотла столице сгинувших со света инков, чтобы поставить штемпель на только что вышедшую в Москве книгу «История древних инков». Книгу, изданную в Москве! Какое-нибудь ликование вызвало это на почтамте? Равнодушие, отсутствие любопытства. Дескать, шальная прихоть туриста... А в центральном парке Нью-Йорка на озере плавали утки... Вот ступеньки лестницы Музея этнографии, на которой Холден Колфилд, герой Сэлинджера, встретил свою сестренку Фиби. Герои французской, немецкой, английской, японской, американской литературы — они же сроднились с нами, стали составными нашего духовного мира. Может быть, мы ездим на свидание к родственникам? Вот они, эти ступеньки... Ну и что?.. Передо мною центральный парк, в котором плавают утки...

Во время своего пребывания в Нью-Йорке я думал о маме. Вспоминал, как вместе с ней были в эвакуации в ее родной деревне. Ведь до сих пор в моем сознании картины зимы, осени, весны, лета — всё из детства. Всё помню. Как вместе с мамой дергали на поле жнивье для топки. Помню, как мама умело ворочала в русской печи чугунами, мыла меня в ней, как вместе с нею мы зимой ехали в санях и мама сама, оказывается, могла, ни разу не ошибаясь в сложной сбруе, запрячь лошадь. И как умела она разговаривать с людьми! С писателями, артистами, учеными. Когда эти люди попадали в наш дом, то охотнее они говорили с мамой, нежели между собой: она всегда была приветлива, в меру откровенна, тактична и обладала редкой самостоятельностью мышления. Какой удивительный универсализм был заложен в ее характере. Я всегда подозревал, что мое знание людей, умение «выгранить» в них главное — это от нее. От нее были взгляд на мир, многие мои сюжеты, мои герои. Я всегда думал, что еще много лет буду с нею, буду расти и совершенствоваться рядом с нею. О, эта вечная загадка жизни и смерти! Как велик умный и достойный человек своим опытом. Сколько мог бы человек узнать в бессмертии. Боги, наверное, и стали богами потому, что они были бессмертны. И как неискупим грех живых перед мертвыми!

Я ездил на Очерд-стрит — Орхидееву улицу — в Нью-Йорке, улицу мелких лавочек и недорогих магазинов, покупал маме подарки. В этом было какое-то искупление, стремление задобрить судьбу, принести ей жертву.

Горькие мысли приходили мне в голову. Ну почему же я так мало сделал для мамы? Она уже никогда не увидит бетона и стекла небоскребов, о которых читала двум молоденьким военным ранним утром тридцать пять лет назад. Я мечтал отправить маму хотя бы в Болгарию. Но разве так уж трудно было это сделать?

Надо было как следует подсутиться. Посмотрела бы сказочное нагромождение современных зданий на Золотом берегу, взглянула на зеленую ласковую Софию, свозили бы мои друзья ее на Витошу, в маленькое кафе. Поела бы она там шопского салата, острейших кебабчатов, выпила бы глоточек экзотического болгарского вина, — а сколько разговоров дома, среди родственников, у соседей! И это оказалось только мечтой, только нереализованной возможностью. Мог бы хоть в Таллин с нею съездить, показал бы город, сводил в музей, послушали бы с нею музыку. Разве мне это было трудно? Надо было найти три дня на эту поездку. Оторвать от личных, якобы обязательных дел. Эх, мама, мама, как ты была права: «Когда меня не будет, будешь кусать себе локти».

Мы готовы жертвовать своими деньгами, вещами, но не своим временем, не своей личной жизнью. Времени у нас, своей собственной ласки, собственного внимания не хватает для близких. Два раза только отправлял маму в санаторий. Хороший. Дорогой. Истратил кучу денег. Но ведь сослал. Одну. Надолго. Далеко. Проводил с цветами, встретил с цветами. Но ведь целый месяц ключи от ее квартиры побрякивали у меня в кармане... Вот тебе и любящий бескорыстный сын!

...Мама все успела сделать до своей смерти. Сразу после моего возвращения диагноз мамы определился. Стало ясно, что надежды нет, и мама это, конечно, понимала. Я еще предпринимал последние попытки, метался между медицинскими светилами и легендарными знахарями, надеялся на чудо, а мама, которая уже не вставала с постели, методически и настойчиво проводила свою линию: «Ты должен свою квартиру отдать брату, — говорила она, — и съехаться со мною». — «Мама, — говорил я, — пока ты больна, зачем заниматься этими проектами?» — «Я должна при жизни сделать для вас все, что могу».

И как часто мы с женой в нашей квартире вспоминаем сейчас ее! Видимо, она действительно понимала лучше нас... что нам надо.

...Мама умерла ночью. В квартире мы были лишь вдвоем с братом. За час перед смертью она сказала мне: «Сожжешь все письма твоего отца ко мне. Они лежат в трельяже, перевязанные красной лентой. Не удивляйся — их много, он мне до сих пор пишет каждую неделю. Письма за сорок седьмой год можешь прочесть. Прощай, Дима, будь честным и добрым мальчиком».

Она лежала на большом дубовом столе с резными ножками, который переезжал с нами с квартиры на квартиру, — на столе, за которым мы пировали, когда я окончил университет, когда женился на Марине, когда выпустил первую книгу. Боже мой, как было сильно отчаяние! Утром пришел отец и долго, безутешно плакал. «Мама умерла, мама умерла», — приговаривал он, и слезы текли по его уже старому лицу. Он сидел возле нее, положив на край стола руки, в парадном полковничьем кителе, при всех орденах, и его слезы, слезы много повидавшего в жизни,

но не ожесточившегося человека, падали на белую простыню. И в этот момент, плача вместе с ним, я так любил его... и понимал, что всю жизнь был не прав, вторгаясь со своими детскими представлениями и нетерпимостью в серьезную и трудную жизнь взрослых. И, обнимая старого и плачущего отца, я впервые подумал: детство, юность, даже средние, самые спокойные годы окончились. Дальше уже не к кому прийти, чтобы тебя поняли, простили и защитили. Ты один и привыкай по-настоящему отвечать за себя и за тех, кто рядом с тобою. Ты уже безнадежно и безвозвратно взрослый...

## Не пишется

Не пишется... Отчетливо понимаю, что прошлый роман отошел, уже стал собственностью моих читателей, мною почти забыт, надо бы писать новый... Не пишется. Да и о чем писать? Где любовные истории, которые так легко и свободно случались и в жизни, и в романах, когда был моложе? Где новая идея, которой неизбежно должен дышать новый роман? В сознании и в душе только вопросы. Старость, она, видимо, гонит творческую тревогу, но разве обмельчала душа? Сознание, как четки, перебирает, о чем можно было бы написать и что по-настоящему волнует. Герой настоящего классического романа должен быть, конечно, молод. А где опыт собственной молодой жизни? Она вся прошла в высокохудожественной поденке, в библиотеках, в написании обещанных кому-то предисловий или статей и в страхе не сдержать данное слово. Ты король, что ли, или президент, чтобы слово держать? А как часто нарушали свое «честное слово» они. Но, боже мой, как хочется новый роман! Как хочется снова поблистать и доказать всем, что возраст не помеха.

1. «Экология старости»? Роман о старике? Что же, здесь наблюдения имеются. Хорошо, когда ты сам и объект наблюдения, и его субъект, и лаборант в лаборатории, и даже материал, на основе которого проводятся химические опыты. Вот первый пример: теперь с большим вниманием отношусь к мемориальным датам, фиксирующим чужие годы жизни. Тщательно все подсчитываю. И на кладбище, и на мемориальных досках, и в энциклопедиях. Сколько лет прожил, сколько написал, сколько получил орденов и премий. Иногда с чувством удовлетворения отмечаю: ну, этого-то я уже пережил. Но плодовые классики, никогда сами не расстилавшие на ночь себе и не убравшие утром собственных постелей, так много успели сделать. У тебя же силы ушли на поденку, заработки, приспособление к начальству. Хорошо бы вывести здесь какую-нибудь формулу: что лучше для писателя — все делать самому или захребетничать?

2. Надо, конечно, выбирая тему и сюжет романа, найти какую-нибудь боковую историю (лучше даже несколько), которую можно будет довольно быстро реализовать на письме. Это современно и очень модно. Беспроектно — антисоветизм, зверства КГБ и угнетение евреев. Но историю нужно искать покороче. Определенно покороче — лучше, и еще лучше — фрагменты. Здесь два обстоятельства. Во-первых, надо помнить, что впереди не бесконечное, как в бессмертной молодости, пространство, а уже незначительное по отношению к прошедшему количество дней. А во-вторых? Каждый день тоже не полноценный: раньше, не глядя в зеркало, махнул пятерней по волосам, вкатился в джинсы и рубашку и уже можешь бежать на работу. По дороге закусил мороженым или успел выхватить из холодильника сосиску. Теперь все по-другому, только процесс вставания превращается в многочасовое королевское «леве». Таблетка от давления, таблетка, стабилизирующая дыхание, кружка холодной воды, чтобы «завести» пищеварение, капсула витаминов. Обязательно десять минут помахать руками, ноги почти не движутся, надо глотнуть кофе, потом бритье, волос на голове осталось мало, обязательно каждый день перед выходом голову надо мыть, и не простым мылом, а специальным шампунем — пусть остатки чуба выглядят чуть пышнее. После душа лучше не разглядывать кожу на руках и ногах. Она стала слишком свободной и тонкой для осевшей массы. Все покрыто почти незаметной сеткой — такой же, какую в собственном детстве видел на руках бабушки. Тогда думал, что у меня такой не будет, я смолodu буду правильно питаться, заниматься физкультурой и следить за собой. Нет, все повторяется, и от природы не уйдешь.

3. А процесс варки овсяной каши, потому как желудок совсем не тот! Бутерброд с «краковской» колбасой и в кружке чая четыре куса сахара уже не проходят. В сознании картинки, внушенные с детства: жидкая каша, содержащая много медленно перевариваемых веществ, не торопясь прокатывается по кишечнику, слизывая с собою все, что бесполезное там нарастало. Очень сильно действует лукавое слово из телевизора — «очищение». Но кто нынче ест простую кашу? Завтрак у всех людей, которые условно называют себя интеллигентными, давно не просто каша. Нынче к каше полагается очищенное тыквенное семя, потому что, считается, помогает от аденомы простаты или предотвращает ее. В кашу надо добавлять кунжутное семя: с возрастом кости слабеют, а кунжут — кладовая или калия, или кальция. Впрочем, какое это имеет значение, если все едят. Кунжут, как уверяют диетологи, дело пустое, если предварительно его не размолоть в кофейной мельнице. Но есть еще два необходимых компонента: это семя льняное, которое и набухает в кишечнике, и соскребают ненужное, и стимулирует перистальтику. И, наконец, чайная ложка льняного масла. Раньше

этим маслом заправляли лампы, но кто же знал, что в нем тьма полиненасыщенных жирных кислот.

Кашу лучше заедать югославским черносливом, причина та же: незаметно подкрадывающаяся старость и ощущение первых сбоев в механизме. Кто из прагматичной и уже готовящей себя к вечной жизни молодежи добавляет к утреннему завтраку льняное масло?

4. Газовую плиту надо зажигать внимательно и сосредоточенно, чтобы внезапно не полыхнуло. Без прежнего бездумного бытового автоматизма, который так верно всю жизнь служил, но внезапно стал подводить. И не забыть (не только не забыть, но и два-три раза проверить), что газ после готовки выключен. А может быть, просто голова заполнена множеством сопутствующих мыслей и текущий быт с его проклятой газовой плитой в сознании отнесен на периферию? Но разве ты по пять раз не возвращаешься от лифта к входной двери: удостовериться, что все же закрыл квартиру на два оборота ключа?

Есть кашу надо медленно и по возможности чайной ложкой, потому что появилась старческая жадность к еде, мелко и тщательно все пережевывая, опять наивно представляя, будто эта овсяная каша стонет со стенок желудка и кишечника налипшую на них гадость. Меньше гадости — больше будешь жить. Это не вполне так. А судьба, а генетика? Но как в генетику вписать дедушку, погибшего в лагерях в 1937-м?

5. Кроме газовой плиты определенную опасность представляет компьютер. Ты его изучил, все-таки изучил, закинул на антресоли старую пишущую машинку, которую на всякий случай бережешь для гипотетического собственного музея, и теперь немыслимо гордишься своим умением складывать легкие компьютерные тексты, пропускать их через принтер и даже умеешь посылать электронные письма. Но сколько раз ты закрывал компьютер, забыв нажав на клавишу «сохранить»? Сколько раз собственное письмо отправлял по другому адресу! Как часто уходил из дома, забывая выключить компьютер! Конечно, Бог тебя вроде бы бережет, ты еще именно из-за взорвавшегося компьютера или телевизора не горел. Но компьютеры иногда взрываются, а телевизоры, когда хозяев нет дома, вспыхивают. После семидесяти с большим лишком прожитых лет весь мир представляет для тебя опасность. Ты прекрасно понимаешь, что зимой и осенью, когда лишь тлеет центральное отопление, лучше не спать на электрическом пледе и под электроодеялом. Но спишь! Как минимум ты уже слышал о пяти историях, как кто-то горел, кто-то просто обжегся, а кого-то сгубил электрический разряд. Подействовало? Русские и живут, и благоденствуют, не особенно мучаясь рефлексией, исключительно потому, что знают: со мною этого не случится! Но весь мир против тебя, старый человек, даже если у тебя еще неплохо работает голова.

6. Враги действительно окружают тебя со всех сторон — фраза из давнего, но собственного романа. Как же ты боишься самоповторов — бесспорных признаков писательской старости! Но о нынешних врагах. Это засорившийся туалет, подтекающий в ванне кран, перегоревшая на лестничной площадке лампочка. Это молодняк, который живет над твоей квартирой и через день устраивает хороводы с песнями. А подоконник на лестничной клетке, весь заваленный окурками!.. Надо быть предельно осмотрительным: не ругаться с молодняком, потому что они все-таки выключают радио, уходя в школу или свои институты, а могли бы не выключать, оставлять динамики работающими на полную мощность. Не следует жадничать, когда прощаешься со слесарем или водопроводчиком, и нужно всегда быть ласковым с уборщицей в подъезде. Это сегодня ты сам беспечно идешь в аптеку, а завтра, может быть, будешь просить сделать это за тебя молодую таджичку. Ах, ты еще не забывал закрыть дверцу в холодильнике и пока не видел лужи, разлегшейся на полу в кухне! Вот и опять приходится вспоминать таджичку, звать «обслуживающий персонал».

7. В старости хорошо бы поразбивать все зеркала, которые ничего доброго не обещают. После бритья — крем на «морду лица», чтобы старческая собачья ухмылка, таящаяся в носогубной складке, была не так заметна. Твое лицо уже давно «морда». Старость приходит с кремом «Нивея», который якобы молодит и разглаживает кожу. С каждым годом носогубная складка расширяется, словно овраг после дождя. Польза от крема, лосьона, утреннего умывания и мягкого мыла — это все обещания лживой телевизионной рекламы. Пять минут с отвращением вглядываешься в зеркало — все то же, что и вчера, и позавчера, лунный мертвый пейзаж и — ужас: когда же овраг превратится в каньон? Глаз мутный, плохой, красная сетка вокруг зрачка, хорошо, что еще не дергается веко, как вчера перед сном после долгого чтения. Изучение собственной старости в зеркале заканчивается. Результат — отвратительный. Возможна ли в дальнейшем, в прекрасном обществе будущего, где все станет гармоничным, принудительная эвтаназия?.. Причина? Эстетическая недостаточность в облике гражданина. Не украшает гражданин жизнь, раздражает окружающих. Как цветасто выражаюсь! Мозги еще работают, но это, кажется, единственное в организме, что пока мне не изменяет — голова. Хотя...

8. Нет никаких сил, чтобы провести ревизию в платяном шкафу, что раньше в быту назывался шифоньером. Как быстро выветриваются из обихода привычные слова! Как много возникает новых. Уже члены правительства произносят еще вчера вульгарное словечко «общался».

В каком же из этих старых, уже обвислых пиджаков лучше выйти в мир, который тебя давно похоро-

нил? Как отвратительна эта старческая привычка копить когда-то ношенные костюмы, свитера и рубашки в шкафу. Дескать, когда-нибудь надену, скомбинирую... Нет, это тайные воспоминания о последней войне. По сколько раз тогда перешивались бостоновый пиджак и шевиотовые брюки! Какие комбинировали курточки из шинельного сукна. Разве все мы не печальные дети войны? Тайно, не признаваясь в этом себе, думаю: всё на помойку! Ни один твой костюм, даже если он сшит для тебя самим Славой Зайцевым, никто никогда не наденет. Кому нужны эти сюртуки, фалды которых бьют по коленям! Бойцы минувшей моды. Все надо нещадно уничтожать. Никогда не надену, никогда не вспомню! Собственный племянник, печальный мой наследник, если я стану впаривать ему в подарок этот «почти не ношенный» костюм, его не возьмет. Даже если это «костюм из Парижа». Впрочем, есть костюм, пошитый как парадный из фракного сукна во время перестройки, который до сих пор мне не мал. Это, конечно, обладеживает. Хоть не полнею. А может быть, все-таки костюм сшит был с запасом?

9. Пиджак в гардеробе одинокого мужчины — не легкая проблема. Пиджак должен что-то деликатно скрывать, а не подчеркивать, как у молодого телеведущего. В суровом возрасте человек, чтобы маскироваться, должен иметь дорогую обувь и много новых пиджаков. Но самое главное — рубашка, ее покрой, цвет и фасон воротничка. Галстук еще может отчасти закрыть дряблую, как у старого птеродактиля, шею, но галстук слишком официален. Мода на раскованность и яркий в талию пиджак. Куда ты делось, время, когда галстук был обязателен, как восход солнца! Все нынче, включая депутатов Госдумы и президента, по возможности носят «кэжуал», а что же носить нищему человеку свободной профессии? Выбираю старую, но с высоким на трех пуговичках воротником рубашку, ее надо бы чуть подгладить. Фасон рубашки, купленной лет семь назад в Германии, чуть замысловат, но материал от стирок не потерял вожаделенной свежести. Рубашка удачно скрывает лишнюю кожу подбородка, и ты всегда надеваешь ее на телевизионные передачи. Никто не знает, что высокий воротничок уже давно износился и был перевернут в мастерской, где ремонтируют одежду. Старость, она чрезвычайно расчетлива.

10. Вот и двух часов из жизни как не бывало. Не пишется, и кому тогда интересна опись пиджаков? Почему раньше писалось? Перечень? Перечень вещей или предметов туалета всегда магнетически действует на читающую публику. Ну, с десятков пиджаков, костюмов, наверное, вспомню... И пиджак может стать вехой памяти. Естественно, помнятся пиджаки не по цене и качеству, а по странам, в которых покупал. Ирландия — в тот год в Дублине выпал случайный и не виданный в этих местах снег — деловой костюм серого цвета. Зеленоватые брюки, жилет и



коричневый, с брусничной, как у Чичикова, искрой пиджак — Германия. Черный строгий костюм, где вместо обычного пиджака что-то вроде офицерского френча со стоячим воротником, — Париж, распродажа где-то в Сен-Дени. Но у моей бабушки-баптистки было одно легкое парадное пальто серого цвета, расшитое фигурной строчкой, и роскошная шаль, накинув которую на плечи она ходила в свою «штунду». И ведь хватило для парадных выходов на всю жизнь, а телят она поила в старой юбке и резиновых сапогах. Подсчитал — тридцать пять пар обуви, не новой, конечно, вместе со старыми тапочками. Мир излишков и парадной маскировки. Это собственный гардероб. Гардероб не гарантирует бессмертия. И все-таки к старости не хватает. Старость требует переключения внимания с собственной шеи на лацканы пиджака.

**11.** Кажется, сегодня легче всего создавать биографические романы. Какая бездна писателей и так называемых писателей тачают эти стерильные формулы «замечательных людей». Сейчас все замечательные, и каждый актер, снявшийся в проходном сериале, и политический предатель — уже звезды. Раньше был стыд плохого писательского письма, а нынче компьютер всех в стилистике уравнил. Прежде каждую цитату надо было откапывать, проглатывая кучу книг или исторических материалов. Цитата в библиотеке или архиве выписывалась на карточку, а уже потом переносилась в основной текст. Нынче достаточно клика в Интернете, и не надо потом, шевеля губами, переписывать шариковой ручкой слово за словом, достаточно нажатия клавиши на клавиатуре — скопировано и даже переслано. «Творец» создает лишь концепцию из подбора цитат. А может быть, концепция ныне зависит от того, как цитаты лягут?

**12.** Какой сегодня день? Если вторник или четверг, надо идти преподавать. Хорошо, что ходить к этим неучам необходимо лишь два раза в неделю, а не пять. Я сегодня читаю лекцию для актеров в театре, так сказать, для саморазвития, или просвещаю библиотекарей? В наше время писатель, чтобы не пропасть, должен еще где-нибудь работать. Роскошные тиражи книг, на гонорары от которых можно было прожить три года до книги следующей, давно для писателей пропали вместе с советской властью. Хотели как на Западе? Ходили на демонстрации, писали отчаянные публицистические статьи, думали, что станем кому-то нужными и что ожидают слава и деньги. Исчезнет ненавистная советская власть, сразу манна небесная просыплется на всех. Просыпалась, но не на всех. Получилось, одни «классики» служат вахтерами, другие в лучшем случае встречаются с библиотекарями или с пенсионерами. Первые изучают жизнь, проверяя пропуска и разглядывая посетителей, вторые, рассказывая по десять раз одно и то же, в принципе, тоже изучают жизнь. Первым хуже. Как правило, им надо подни-

маться рано, чтобы встроиться в свою смену. В старости подъем с постели — тоже целый ритуал.

**13.** Но еще труднее — заснуть. Особенно, если день намаешься с разбором старых бумаг в попытке высечь из них свежую искру. Нет искры — и нет сна. Конечно, уже давно пройдены все эти заварки вальерьяны и успокоительных чаев, испробованы легкие снотворные, донормилы и новопасситы, даже вечерние прогулки по двору и вокруг квартала. И уже ноги еле переставляешь, когда идешь к подъезду, а сна всё равно нет. Все заканчивается одним — включаешь телевизор, ставишь звук почти на минимальный. Телевизор в своей полной предсказуемости — лучшее снотворное. Но и прекрасный сюжет для нового романа. Осталось глухо прокаркать восторженно-школьное «эврика!».

**14.** За тонкой пленкой телевизионного экрана живые ведь люди, когда-то получавшие гонорар или зарплату. Классики романистики утверждали, что со временем главным героем романа станет писатель, пишущий роман. Все это не так или не совсем так. Нынче главный герой жизни — это телеведущий, с невероятной быстротой стреляющий в телезрителя словами. Правда, после телевизионной очереди из слов трудно вспомнить, о чем же телеведущий палил? Жизнь, скажем прямо, несколько обесмыслилась. Со смыслами нынче трудно не только правительству. Как прекрасно можно разработать сюжет о молодом телеведущем, попавшем под телевизионные софиты! Здесь несколько разнообразных вариантов. И как это можно было бы в духе продвинутого дамского романа все написать. Стареющий босс, алчущий молодого и гибкого девичьего тела! Как рыночно и как элегантно! Есть и другие варианты со стареющим боссом и молодым телом атлета, вдруг ставшего телеведущим в интеллектуальной передаче. Это тоже можно, и какое здесь разнообразие интриг: соперницы, соперники, подсиживание, подкуп гримерши или телевизионного оператора, умеющего подчеркнуть самые отвратительные черты и внешности, и характера. Сколько на этой площадке разочарований, криминала, психологических тонкостей, возможно, даже самоубийств. А какое единение против внешнего врага в этом разновозрастном стаде. Как аккуратно, забравшись на мелкотравчатый Олимп, молодые богжи и богини сплываются, чтобы не впустить в свою среду новую задорную телку или веселого и наглого бычка. Вот она, новая «Одиссея», да и «Илиада», не встретить здесь только верной Пенелопы.

**15.** Мне невероятно нравится это веселое и прибивное телевизионное самообслуживание. Сами на экране говорят, сами на экране танцуют, сами поют, ездят на коньках, играют в телевизионных сериалах. Лишь бы никого новенького! Рядом с когда-то весомым понятием «политический деятель» или «писатель», как пожар, возникло игривое понятие — «те-

леведущий». Лучше, если косноязычный, расчетливый, умеющий менять убеждения вместе с политическим курсом, без вредных привычек к правде и совести. Герой времени под носом, а ты все, старый дурак, талдычишь: не пишется!

**16.** Жизнь вообще в наше время — телевизионный сериал. У меня тоже есть кое-какие личные сюжеты. Задача писателя выкроить из своего что-то могущее заинтересовать всех. Хотя «личные сюжеты» — это слишком крепко сказано. Разве сюжет, разворачивающийся на твоих глазах, не твое, не сугубо личное? Есть, например, история сравнительно молодого миллионера, интеллектуала и спортсмена, который хотел бы броситься в новый семейный роман. Желательно роман с молодой, двое детишек уже у миллионера есть, и с прежней женой у него сохранились прекрасные отношения — деловые люди! Ну, не сошлись характерами, оба добытчики, а теперь каждый сам по себе. Ему все кажется, что это надолго: «Рожай!», а она все красит ногти...

Не дружите с писателем — вы обязательно станете его жертвой, и он не удержится и обязательно о вас напишет, постарается вытащить все самые худшие черты. А кого интересуют лучшие черты? Нищим профессионалам пера хорошо известно: отрицательные герои пишутся легче, они, безусловно, для читателя эффектнее и привычнее. В телевизоре один положительный герой — президент!

Я внимательно наблюдаю за каждой новой претенденткой на беззаботную и обеспеченную жизнь рядом с этим миллионером. Всегда выслушиваю все его рассказы. Знакомства у него обычно происходят в самолете, летящем куда-нибудь в лыжные края, в Швейцарские Альпы, или, скажем, в театре. Для меня это и некий показательный момент, как надо в наше время жить и как я жить не умею. Я точно знаю, что мой знакомый миллионер широкий и щедрый парень. Возит своих подружек в Турцию и Египет. Но все-таки, почему так недолго длятся его романы? Я даже за него вполне искренне страдаю. Роскошные девушки и молодые дамы все-таки его, после некоторых колебаний, навсегда покидают.

**17.** Не пишется...

**18.** Мы стрижемся с ним в одной очень недорогой парикмахерской и у одного мастера-узбека. Мне, собственно, уже и стричь нечего, а он так привлекателен и спортивен, как его ни постриги, все будет хорошо. Мастер-узбек стрижет отлично. Я как-то у этого своего знакомого миллионера спросил: «Вы сколько мастеру даете на чай?»

— Пятьдесят рублей.

И хотя у меня нет машины «мерседес», а езжу я всего лишь на немолодой «ниве-шевроле», я этому мастеру даю — 100.

Это первая серия одного из моих сериалов? Назовем его «сериал № 1».

**19.** С годами, по мере того как приближается неотвратимое, все сильнее действует природное нещепильное любопытство: как, интересно, *там*? И — как все *пройдет*? Появляется удивительный, можно сказать патологический, интерес: а как отреагируют близкие и знакомые? Как быстро забудут товарищи на работе? Начинаешь замечать за собою странности. Например, слишком много об этом говоришь. Дома по утрам, когда услышишь шаги в коридоре, норовишь задержать дыхание, закатить глаза и раскинуться на своем диване, свесив до пола руку. Ждешь, когда зайдут и начнут прислушиваться к дыханию... Не продолжаю. Старческие лукавые уловки, хочется еще при жизни увидеть горе и страдания. В давнее время, чтобы лишить наследства нежалостливых и нерадивых, к подобным приемам прибегали коварные дядюшки и тетушки... Но это сюжеты из вечного и бессмертного Диккенса. Вот и продолжай об этом, рисуй свою старость. Физиолог Иван Павлов до последней минуты, уже хрипя и задыхаясь, вел научные наблюдения над собственным умиранием. Очень похоже, правда, нет гениальности. Пиши свою обыденную старость...

**20.** Сериал № 2 — это, пожалуй, некое гуманитарное учреждение, в котором работает другой герой. Героев, как известно, писатель не выбирает, они появляются в его жизни сами. Потом писатель начинает придумывать своему герою, ставшему персонажем, внешность, маскировать, как можно дальше уводя от прототипа. Самое трудное — найти герою профессию. Выбирать надо из того, что хорошо знаешь. Газета? Редакция журнала? Телевизионная студия? Музей или картинная галерея? Киностудия? Университет? Театр? Любите ли вы театр? Буквально всё: и газета, и музей, и киностудия — всё это уже использовалось раньше. Когда не пишется, надо быть хотя бы оригинальным. Ну, конечно, библиотека, куда в советское время писатели и сценаристы любили селить молоденьких библиотечкаш. У нас все наоборот — в библиотеку поселим интеллигентного монстра. Пусть будет библиотека: всю жизнь в нее хожу и поэтому немножко знаю.

Сцены будем разрабатывать потом, сначала, так сказать, синопсис, описание сюжета без диалогов и подробностей. Как внезапно «случай» может разрушить устоявшийся и уже смирившийся с собственной судьбой характер! Служащий среднего звена стал директором. Почти государственный сюжет. Бывают, конечно, странные сближения... Библиотека! Государственная? Республиканская? Краевая? Областная? Большая, солидная, престижная — и точка. Не стану добавлять здесь «и ее научным руководителем», чтобы не вводить новые повороты в сюжет. Большая библиотека — всегда научное заведение. Но какое тут поле для психологии, капризов и проявления различных, ранее скрытых черт! Я всегда с жадностью наблюдаю за подобными перипетиями в других отсеках быстротекущей жизни. От оли-

гарха до премьер-министра. Ситуации — типовые, людей надо подгонять под ситуации. Писатель всегда немножко актер, потому что должен проигрывать про себя все роли в своем сериале...

**21.** Портрет? Литература вся на контрасте, положительный герой нынче — это не красавец, а скромняга, мелкаш, с кучей бытовых недостатков. Отрицательный — псевдоправедник и демагог с повадками депутата Государственной Думы. По законам жанра ему необходимо открытое русское лицо, тихая, шелестящая речь, голубые, нет, васильковые глазки. Волосы? Для утверждения фундаментальной укорененности подарим нашему герою из библиотеки бороду. На окладистую мой герой не пойдет, слишком по-боярски, а ему надо проплыть между Западом и Востоком. Так не пишется или все-таки исписался? Звучит как приговор.

**22.** Как все запутывается! Много героев — это излишки в коротком современном романе. Кто все-таки главный? Сторонний наблюдатель, скромный мемуарист, народный мститель, летописец, писатель и, наконец, старый человек собственной персоной? Кто же герой? Сколько молодых мыслей бродит в несвежей голове! Сколько замечаешь в себе отвратительной свежей и даже молодой патологии. А разве дотошная наблюдательность и умение по обрывкам сочинить происходившее — не разрушительный талант? Как скучно становится жить, когда все подтексты мгновенно в твоём сознании превращаются в мотивы и желания, а ты делаешь вид, что не понимаешь, чего же от тебя хочет собеседник. Как хочется тайн, мистического неведения и медленных, ход за ходом, разгадок!

**23.** Нет, нет, зачем так подставляться и делать вид, что по-другому не умеешь? Ничего личного, личное, если оно и есть, — а как без него! — надо затенить и замаскировать. Никакого старого писателя, сюжет романа пусть поведет молодой герой, который наблюдает за двумя бодающимися баранами. Один — моложе, другой постарше. Молодой герой, наркотики, сексуальная ориентация, бассейн, фитнес-центр с сауной, сафари в Южной Африке. Молодым тоже не откажем в проницательности, пусть и молодой герой все видит и замечает, отдадим ему собственные свойства. Но с твоими едкими качествами молодому герою никогда не выбиться, как требуется для романа, в люди. Разве ты когда-нибудь смог украсть? Для современного молодого героя нужен сановный или богатый отец, учеба в Англии, домашняя привычка таить планы и не отдавать своего. Нет у тебя, старый, как лесной пень, писатель, здесь личного опыта. Молодой, современный и успешный герой может и отца родного продать. О молодом герое думаю, и кажется, что модель этого самого героя все же есть, надо только аккуратно вводить его в общий текст. Или не вводить? Но вот успешный ли это герой? Единственный, уникальный, как упавший на землю асте-

роид, музейный экземпляр. Вставляю его насильственно в роман как нетипичное примечание.

**24.** Вот мой молодой герой руки не подал своему бывшему начальнику, когда тот шел на него, празднично на приеме улыбаясь и предлагая забыть все старое! Откуда такая дворянская гордость? Что бы ему сунуть, протянуть свою молодую горячую руку в это холодное и расчетливое пространство, в котором по какому-то недомыслию текла человеческая кровь, и забыть. В узком горизонте литературы лучше не иметь лишних друзей. У меня поступок молодого героя вызвал только восторг. Страшен не доблестный поступок, а осторожная слава, которая раскатилась. Нет, нет, Максим, в прототипы тебя не возьму, ты опасен нам, старым крокодилам, осторожно лавирующим между такими же, как мы сами, чудовищами.

**25.** В каждый роман, чтобы он состоялся, надо обязательно, как об этом уже говорилось, вплетать что-то личное. А как там будет после меня? Еще сто лет назад жить было не так тревожно, и тогда кое-что можно было бы себе представить. Как увеличивается расстояние между «сейчас» и «завтра». И уменьшается между «сегодня» и «вчера». Уже Николай Первый, Павлович, чуть ли не наш современник, и мы знаем, как страстно Пушкин любил «пожарские котлеты». Но как обстоит дело с «героическим вчера»? Оно что, исчезло совсем? Мальчики не хотят становиться Гагариными, а девочки мечтают быть только Кейт Миддлтон, женой принца Уильяма? Как-то странно извивается, петляя, возвращаясь вперед и отлетая назад, чуть ли не в вечность, ставшее вдруг архаичным время. Еще вчера совесть была важным компонентом жизни, а нынче она лишь филологическое украшение литературы. Так сказать, привязка к неким древним текстам. Экология возраста — вот что меня сейчас занимает.

**26.** С особым, хотя и мимолетным вниманием последнее время стал разглядывать по телевидению чужие похороны. Сам на похороны хожу редко, потому что, как правило, на похоронах в основном живые демонстрируют себя живым, а если публично и говорят, то скорее о себе, нежели о покойном. Какая безвкусица эти аплодисменты покойному на выносе тела! Мода, возникшая в театральных кругах, вдруг оказалась чуть ли не общим правилом. Большие артисты, которых провожают на кладбище из знаменитых театров, где они играли, хотя бы всегда были артистами хорошими. Начинаем аплодировать министрам и общественным деятелям, так прибыльно и быстро продавшим за бесценок свою страну.

Пристрастно также разглядываю эlegantные автомобили-катафалки, на которые грузят покойников, затаренных в лакированные гробы. Не то чтобы, так сказать, примериваюсь, а просто задумываюсь о потере такта и вкуса в похоронном деле. Воздаю столько казенных почестей, истратив на шелко-

вые кисти и бронзовые ручки так много денег, как быстро покойного забудут? Но и примеряюсь тоже. Не хочется, конечно, но повседневная и нелегкая работа позволяет думать, что еще есть время, есть малые, соразмерные возрасту силы. Если есть высшая справедливость, то отпущенное тебе должно быть исполнено. Наряд надо закрыть без приписок и фальшивых авизо.

27. Писание романа — это как сборы в долгую экспедицию по совсем необжитым краям. Не известно, есть ли там даже тропы, не говоря уже о бензоколонке или магазине. Предусмотреть и взять с собой в дорогу надо всё, от спичек до шприца с антибиотиком. Почему путешественники печатают свои мемуары и никогда не приводят списка взятых с собою вещей и продуктов? Как теперь, когда вскоре предстоит путешествие более долгое, даже бесконечное, хотелось бы взглянуть на опись имущества, препаратов, приборов и припасов, скажем, экспедиции Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского или его ученика Петра Козлова. У этих знаменитых землепроходцев с собою, наверное, было и Евангелие.

28. Все герои моих сериалов должны быть расчетливы и честолюбивы, хотя бы в молодости, дальше уж как вывезет. А Максим? Как иногда можно проговориться, сразу представляя прототип и даже его называя. Так нельзя, начнется переполох, исследователи примутся копать дневники и переписку и по крошечной оговорке сразу отыщут и подлинного героя. Как жадны все исследователи до отгадывания творческих кроссвордов. Обойдемся на всякий случай без имен. Герои романа есть, а имен нет. Некая литературная шарада или старческая торопливость? Так что мы имеем, если нет имен? Как и положено в современном дизайне, еще по ошибке называемом живописью, — обобщенные фигуры и обобщенные же названия картин. По крайней мере Максим — это *Секретарь*, если секретарь мне в дальнейшем понадобится. Выделим имена определенным шрифтом. *Секретарь* — я же обещал молодого героя. Да, не обязательно идиота и мздоимца. Какое это счастье, когда в сонме прохиндеев, готовых предоставить тебе свою биографию, вдруг появляется воистину положительный герой! Человек на дорогой машине — *Предприниматель*, а персонаж в Библиотеке — *Директор*. Но, как я уже заявил, *Секретаря* не будет, он замечание. А впрочем...

29. Выбор имен для романа имеет не меньшее значение, нежели выбор героя. Недаром говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Имена разных героев не должны начинаться с одной буквы. Мужские и женские должны быть разведены по огласовке. Имена, наконец, не должны быть похожи на имена героев знаменитых романов. Положительного героя нельзя назвать Вадимом, а отрицательного Иваном. Героиня могла быть Дашей, Машей, но никак

не Варварой. Пожилая дама могла называться Калерией или Марфой, но никак не Светланой. Как я мучился над фамилиями и именами персонажей, когда еще писалось! Сейчас — другие времена, другие объемы письма, другая степень художественного доказательства. Но схема героев уже есть. Звери на арене, укротителю осталось только щелкнуть хлыстом.

30. Где обычно гнездится честолюбие? Оно в бедных и, как правило, обездоленных семьях. Сейчас с этим труднее: наглядность отдалилась, другая жизнь — только по телевизору или в кино. Мир «ламборгини» и замков на Луаре, теперь принадлежащий бывшим соотечественникам, для остальных — за стеклом телевизора или на флуоресцирующем полотне киноэкрана. Раньше было проще и нагляднее: в подвале одни семьи, а на других этажах того же дома иной достаток. Папа одного мальчика скоблил зимние тротуары и сбивал сосульки с крыш, а за папой другого приезжал шофер на служебной «Победе». Учились мальчики в одной школе, часто и в одном классе. Мода отправлять потомков в Англию еще не созрела. Но я, кажется, уже говорил, как извилисто петляет время? Еще недавно отпрыски монархов обязательно учились в университетах собственных стран и обязательно на родине проходили военную службу.

31. Господь Бог, конечно, прощает всех. Я абсолютно уверен, что он милостивее и больше понимает многомерную природу человека, чем возлюбленная Церковь. Но ей тоже спасибо, именно она научила помнить свои и чужие грехи. Надо также заметить, что чужие-то мы моделируем и фиксируем исключительно по грехам собственным. Но отчего старость так нетерпима и так любит говорить о чести и нравственности? Удивительно гадкое, как и «патриотизм», слово «нравственность», отделяющее человека от основного и сокровенного. Каждый к чему-то прикреплен, каждый росток былого. Сельского кладбища, на котором похоронены мои прадеды, уже нет — оно запахано под русское поле. О поле, поле, я твой тонкий колосок! Ничего не забывающий, но все простивший колосок. Но только из-за отсутствия места на сельском кладбище гореть ему в жаркой печи крематория.

32. Разведем же дороги двух мальчиков давних времен: пусть один станет блестящим физиком и математиком, который в перестройку сделался *Предпринимателем*, а другой... очень боюсь пугливых и амбициозных прототипов, кем же окажется другой? Я перебираю про себя разнообразные профессии, как и положено, начиная новое сочинение, опытному литератору. Специальностью того и другого может стать любая, в которой разбирается автор. Это закон приличной беллетристики, современный человек живет исключительно в сфере своего дела. Мне хотелось, чтобы второй герой стал филологом,

специалистом по нравственности, духовным человеком со своей жертвой Богу, но хоть я и не специалист по железным дорогам, однако в память о моем деде, паровозном машинисте, пусть второй герой в конечном итоге «возглавит» какой-нибудь паровоз. Наш паровоз, вперед лети! Я сам стану кочегаром у топки. Писатель ради успеха своего романа готов сжечь в топке даже себя. Но я, кажется, уже определился с профессией одного, а другой — *Директор*, гуманитарий. Читателя пора приучать и к графическому написанию имени героя. Библиотеку здесь пишу пока с большой буквы. Но это крупная Библиотека в большом городе. Или не Библиотека? У *Директора* невинные русские глаза василькового цвета.

**33.** В библиотеке я тоже не чужой, и не только как упорный читатель. Романист, чтобы его было интересно читать, должен ставить перед собой новые и более весомые, чем прежде, задачи. Библиотека ведь тоже может быть огромной: и большое старинное здание, и коллектив, и немалый бюджет. Как хочется спеть песню бюджету! Библиотека может иметь даже несколько зданий и двор между ними, где могут, как во дворе Румянцевской библиотеки, цвести цветы, прогуливаться читатели, и пусть в этом дворе или садике стоит бюст какому-нибудь писателю. Здесь, как и везде, текут крыши, существует пожарная, не работающая или даже работающая сигнализация, засоряется канализация, портится телефон, покупаются компьютеры и вместо прежних, дубовых, ставятся новые «пластиковые» рамы на окна. Ах, какие при смене окон возникают откаты! Какие можно выломать и продать замечательные каменные подоконники, заменив природный камень на универсальную пластмассу. Как грустно жить, когда знаешь, как украсть, но из трусости — в наше время совесть имеет и такой эвфемизм — не ворует! Необходима цитата: «Так трусами нас делает раздумье, и так решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным...» Здесь (я все о Библиотеке) госбюджет отпускает деньги, которые можно истратить очень по-разному, здесь возникают внебюджетные средства и числится старинная мебель, даже антикварная, которую можно списать как просто старую. Какие просторы! Директор — это всегда огромные возможности. Здесь есть специалисты и карьеристы, сюда могут придти иностранные фонды в надежде что-нибудь узнать из того, что они (специалисты и здесь, и за рубежом) не узнали бы в другом месте. Здесь не только старые с подсиненными седыми волосами библиотекари, часто говорящие на нескольких языках, но и энергичная молодежь, и предприимчивые хозяйственники, путающиеся даже в русском, но твердо знающие, какой единственной фирме надо поручить и ремонт крыши, и покупку компьютеров, и собственную обеспеченную старость. Кажется, я все же произнес слово «откат». Это не про моего героя, он по-мещански честен, подворовывают

другие, за которыми по незнанию предмета он приглядывать не может. Честный, неумный дурак, любящий только себя и гребущий все к себе, но по-другому, а это много хуже и опаснее.

**34.** Сколько же в юности было даром истраченного времени. Но какие были посиделки, какие долгие и сладкие телесные ласки, какие потрясения испытывало сознание от впервые прочитанных гениальных книг. С какой силой сотрясалось юное тело от запретного. Никуда ничего не делось, все, если ты все же писатель, пойдет в запланированное строительство. Но как нынче писать, чтобы истомой охватить и читателя? Читатель нынче привередлив и осведомлен, сколько узнал из порнофильмов и Интернета, как же его заморочить? Он уже начитался, накушался, его не проведешь на «реалистическом» диалоге, на курении на сцене или на распивании во время диалогов «настоящих» чаев. Всерьез? До полной гибели? А какая здесь гибель, только поиски справедливости. И никому не будем желать зла. Жить всем хочется.

**35.** Я довольно близок с Господом нашим Богом. Я понимаю его, чувствую его длань, наказывающую меня за грехи и ведущую по земной юдоли. Он наделил меня рефлексией и знает, что и без его святого вмешательства я истязая себя за свои грехи. Но все-таки он дает мне столько, что я не успеваю его благодарить. Ему не чуждо ничто человеческое, а нам его Божественное, потому что и мы иногда поднимаемся на крыльях. Но он, я знаю, не любит, когда на похоронах слишком много отчаянно нагреших людей. Знайте меру! Я скептически смотрю на бумажную ленту с молитвой, которая лежит на голове покойного. Бог не любит парадной публичности. Он уже всех простил. Как и он, я уже расстался со всеми укоризнами, но я все смотрю на бумагу и каюсь покаиванием покойного. Я о каждом покойном могу написать роман, в котором он будет прав перед людьми. Но где истина?

**36.** Мальчик, который в начале прошлого века на железной дороге на остановках длинноносой масленкой смазывал трущиеся детали локомотива, с удовлетворением наблюдает за новым паровозным машинистом. Знающие — читайте подтексты! Оказалось, что новый машинист плохо владеет профессией, а зачем тогда шел?.. В романе, конечно, особенно в советском романе, прежний машинист мог бы и понаставничать, поучить нового... Но время уже не советское, а новый после своего назначения или избрания так горд и стал так болезненно таинственен! Он, оказывается, как только был назначен и рукоположен, всё уже знал. Портняжка сел в царское кресло. Ах, ах, одного одесского еврея спросили — это из дореволюционной копилки анекдотов: «Что бы ты делал, если бы был царем?» Ответ: «Я бы еще немножко шил».

А что нужно было для нового времени, чтобы спокойно править и руководить? Конечно, помнить, что за тобой дело и люди, а главное — не воровать ни крупно, ни по мелочам и быть до последней возможности справедливым. Это дает силы и ощущение внутренней правоты, с которой противникам трудно бороться. Правота рождает уверенность и силу сопротивления.

37. Надо бы написать большую сцену, как недавно возникшего *Директора* трижды выдвигали в академики. Ну, все, конечно, понимают, что руководителя учреждения всегда можно куда-нибудь выдвинуть по его деликатной просьбе. Общая ажитация, восторги, коллективное единство, цветы, открыли две на всех бутылки шампанского. Какие возвышенные речи, какие разыскиваются заслуги. Патетика! Чуть ли не горловое пение тувинских шаманов! Три раза, словно гогот утреннего библейского петуха, эта сцена с малыми вариациями повторялась. Но существовала, оказывается, плохо известная ретивой и послушной общественности композиция. Это уже в самой Академии, когда всплывал нищенский счет при голосовании мыслителя и библиотечного умельца. Два или три голоса «за», и мрачная бездна — против! Да что они понимают в подлинных заслугах, эти несчастные академики!

38. Жили раньше не заморачиваясь, где кого и как похоронят. Всем хватало места! На кладбищах все были равны, почти как в коммуналках, и больше, чем имелось наличных, ни администратору на кладбище, ни ритуальному агенту не давали. Кладбище теперь — зона престижа, здесь упорная и непримиримая борьба за призрачную вечность. Жизнь становится все мельче, а памятники на престижных кладбищах все круче и монументальнее. Через пятьдесят лет уже в Третьяковке будут стоять монументы знаменитым вора и бандитам. А вот что кроме бесспорно талантливых имен скульпторов будет стоять на музейных этикетках? Какой простор для историков и толкователей культуры!

Писатель уже безоговорочно смирился с грядущим. Что поделаешь, если даже кости усопших Медици выворачивают из гробниц, чтобы наверняка знать, кто именно из них умер от яда. О веренице убийств, отравлений, оплаченных врачебных ошибок среди нового отечественного дворянства и не говорю. Что касается писателя лично — то в ту же урну, где прах покойницы жены, и его пепел, ну, если поместится, пожалуйста, ссыпьте. И на той же плите, закрывающей урну в колумбарии, мелким шрифтом — и его имя. Не жулик и не игрок с государственными деньгами. Здесь — мелкое писательское тщеславие. И никаких, конечно, монументов. У писателя есть ощущение, что по величине и стоимости надмогильного цемента, мрамора, гранита и бронзы Господь в день Суда будет выбраковывать воров и мздоимцев. И помните — ни он Сам, ни его Святые откатов не принимают.

39. *Директор* стал начальником слишком поздно. Всю жизнь он примеривался, приглядывался, размышлял, как бы он верховодил. Как бы сидел за начальничьим столом, как бы обставил кабинет, как звонко хлопал бы дверцей казенной машины, поданной к служебному подъезду. Везде все одинаково: дело случая, но во власть попадет и прохиндей. Ой, романист! *Прохиндей* — это не ваше слово. Мастер, который уже как символ запустил в искусство это емкое русское слово, тоже кое-что у романиста в свое время слямзил. Разве своим коллегам романист не говорит, что литература на семьдесят процентов состоит из воровства. Воруите, как в жизни, смелее. Это, кажется, из сериала номер два? Да нет, из обоих сериалов, как пелось в песне, оба парня brave, оба хороши. И обойти налоговую инспекцию, и выписать себе лишнюю премию, и не обратить внимания на то, что лишнюю премию выписывает тебе главный, подведомственный тебе бухгалтер — все это одно и то же, не правда ли? И главное: циничнее, беззастенчивее! Берите пример с губернаторов! Имена — в Интернете.

40. Он сидел раньше в крошечном кабинетике, деля пространство с секретарем, и был начальником одного из отделов. Высидел и вымучил аккуратностью и трудолюбием. Как тогда он был мил и покладист. Грустный вид из окна на книгохранилище, скромный конторский стол. Все приходилось держать в порядке — отчетность, собранную по папкам, планы, переписку. Фарфоровая кружка, чайная ложка и коробочка с пакетиками чая стояли на подоконнике. Еще советский кипятильник, чтобы на него не наткнулись пожарные, грозные, как буря в пустыне, будущий директор всегда, попользовавшись, заворачивал в серебряную фольгу из-под шоколадки и клал в нижний ящик стола. Господи, как ему надоело быть милым, покладистым, исполнительным, подающим административные надежды человеком! Как надоело быть на подхвате. Выбирают всегда когда не из кого выбрать, и назначают, когда нет своего, самого тихого и покладистого. Думал, что так всю жизнь и будет прозябать. И вдруг — карты сошлись. Васильковые глаза и прямая гвардейская спина — это серьезные государственные аргументы.

41. Иногда он задумывался: почему в соответствующее время не родился сразу владетельным принцем, королем, ну хотя бы русским князем или купцом первой гильдии? Говорят же: «родился с серебряной ложкой во рту». Где моя серебряная ложка? Во рту при рождении оказалась ложка деревянная, ну, на крайний случай советская, алюминиевая. Он отчетливо всегда представлял себе, что означает рождение. Где родиться и в какой семье. И никогда не говорил ему о социальных лифтах. Лифты лифтами, но как важен старт при рождении. Дружеский ласковый пиннок, поджопник, который дают родители, и ты сразу оказываешься в кресле вице-президента банка либо

начальника отдела в министерстве. А тут надо проходить выборы, кому-то нравится и доказывать, что именно ты имеешь право лакать не из общей миски, а пить сливочки исключительно из хрустальной плошки. Выборы начальника, даже в районной библиотеке, на должность — это удивительный цирковой номер, необходимый, чтобы всех обмануть. Демократия со времен эллинов — давно проржавевшее ведро, замечательная возможность своровать лаковую власть. Пока совестливые и умные будут вопрошать себя: достоин ли? До выборов еще главное пообещать, всем и каждому.

**42.** Он отчетливо представлял свой будущий кабинет. Всё видел, как писали раньше, внутренним взором, до деталей: комнату, мебель, письменный стол, книжные шкафы и даже шторы на окнах. Шторы — обязательно. Плотные, тяжелые, с потолка до пола, чуть пропускающие свет. Как во дворце, но это — видение плебея. Он не любил дневного света в комнатах. Полумрак и недоговоренность, некоторая даже таинственность. Шторы всегда будут наполовину задернуты, подчиненным не нужно видеть его лица, выражения глаз. Он всё знал заранее, потому что мечтал об этом с юности, давно, но все не складывалось, он не был лидером, про себя он знал твердо: он середняк с амбициями и трудолюбием. Но почему нельзя было помечтать? Он знал, что на столе всегда должно быть много служебных бумаг. Он не такой простец, чтобы все ненужное отдавать в канцелярию. Бумаги у подчиненных вызывают почтение, а у посетителей трепет. Он хотел бы, чтобы его считали интеллектуалом. И если книги будут лежать на столах, стульях и подоконниках, то куда же тогда денется общественное мнение? Иногда, размышляя, он даже видел себя академиком. Но об этом уже было говорено. В конце своей карьеры, которая закончилась довольно бесславно, он позиционировал себя *мыслителем*.

**43.** Как мгновенно после своего возвышения меняется человек. Вроде бы ходил себе добрый, уже не очень молодой мужик. Все понимали: конечно, себе на уме, но на лице с интеллигентной бородой расцветали иногда чуждой, почти детской улыбкой голубенькие весенние глазки. Он даже мог что-то забавное рассказать, вспомнить анекдот. Настораживала только его поразительная, болезненная память. Но, может быть, это какая-то гуманитарная особенность, иногда переходящая в шегольство? Помнить все имена, фамилии, годы жизни авторов и годы издания их книг. Может быть, и страницы, на которых располагались определенные и нужные цитаты, помнил? Устрашающая память, но ведь всегда можно было что-то спросить, воспользоваться этим ходячим каталогом. Он помнил всех должностных начальников, все лица, все имена-отчества. О, куда ты делось, прежнее социалистическое время, — какая бы была находка для ЦК КПСС.

Но кто знал, что клубилось в глубине, как говорится, души. И вдруг — все в одночасье поменялось. Доплыл до намеченного, сокровенного и тайно желаемого. А что же раньше было и хранилось у него в душе? Черепаха сбросила панцирь, и разве теперь его наденешь снова?

**44.** Поднять в преклонном возрасте сочинение — трудно. Это как строительство целого собора. Но если медленно, по камешку, по кирпичику? Героям, конечно, надо сразу бы давать имена, чтобы они не путались, проследить, чтобы читатель сразу их имена распознавал, чтобы не было в начале повторяющихся букв. Снабжать действующих лиц биографией. Они что, оба честолюбцы? Нет, тот, что когда-то был физиком и математиком, что приехал в Москву то ли из Киева, то ли из Одессы, совсем нет, у него только деньги. Он как-то сразу распознал время, но он, правда, лет на десять—пятнадцать моложе, он очевидный прагматик, он довольно быстро забыл математические формулы и сосредоточился на денежных знаках. Он не заморачивал себе жизнь духовными ценностями и загробной жизнью. Но, скажем прямо, для этого нужна была смелость и даже отвага; другой в это же время притаился, жил как мышка, перебирал бумаги, поблескивал голубенькими глазами, копил эрудицию. В сериале это все надо превратить в соответствующие эпизоды.

**45.** Человек сам выбирает свои пути. Писателя, сценариста и романиста поражает одно: почему только герой из сценария номер один думает, будто результатом его выбора должно стать лишь материальное благополучие? Может быть, к материальному благополучию нужно подходить с другой стороны? Может быть, оно должно возникать само? С чувством некоторой досады писатель смотрит на своего обаятельного миллионера. Замечательный и острый ум, хорошая культура — по крайней мере, он читает то, что с его деньгами и его положением не читает никто. Писатель даже ахнул, когда узнал, что лучший московский драматический спектакль «Евгений Онегин» в Театре Вахтангова его герой посетил один или со сменными подругами 11 раз! И при оглушительной, непролетарской цене за билеты.

Теперь игровая сцена в сценарии № 1. Читателю надо включить воображение.

Это хорошо всем известный по телевизионным передачам операционный зал, в котором производится контроль и слежение за космическими полетами. Здесь ряды телевизионных экранов, за которыми сидят, отслеживая что-то важное и свое, ряды, как мне всегда казалось, молодых людей. Обычно их лица никогда не показывают. Я всегда гадал, кто они, эти приобщенные? Исполнительные ли техники или крепкие специалисты и инженеры? Одного из них я теперь знаю: свежий выпускник физмата МГУ, блестящий математик. Если смотреть в долгой перспективе, судьба обещала ему многое. Но в пер-



спективе ближней надо бы достать импортное детское питание, и ему, провинциалу, заплатить за сменную московскую квартиру. Крупный план: лицо, вглядывающееся в схему, и меняющиеся цифры на экране компьютера. Парень, правда, из Одессы, но не из района той, парадной лестницы, по которой катилась детская коляска в знаменитом фильме Эйзенштейна, не из района гостиницы «Лондон» и не со знаменитой Дерибасовской улицы.

Из Одессы местечковой, почти нищей после войны, латаной, штопаной, плохо кормленной, но чистенькой, с подшитым белым воротничком на форменном школьном кительке. Обычно в подобных местах и в подобных условиях вызревала шпана и золотые медалисты. Слово «безотцовщина» писатель не произносит, но оно подразумевается. Медалист получился.

В плохом советском сценарии дальше эта сцена выглядела бы так: что-то во вдумчивом и сосредоточенном взгляде юноши меняется. Следующая цепь кадров — молодой герой уже за воротами, только что сдав не нужный ему теперь пропуск в секретнейшее в стране предприятие. Каждый кузнец своего счастья. Он в раздумье. Звучит широкая и раздольная музыка ельцинского периода...

**46.** Здесь можно было бы еще написать внутренний монолог героя с рефлексией по поводу места в жизни. Это очень любит полуинтеллигентный читатель. Но перед внутренним взором писателя две фирменные точки, где в начале перестройки изредка по «еще государственным ценам» продавались французские духи. И никаких монологов, все действия на уровне инстинктов.

Одна точка — почти на углу улицы Горького (прежнее название) и Камергерского переулка (старое название, ставшее новым; кто знает — поймет). Точка — в «сталинском» доме, где жила советская элита. Там есть такой небольшой карман, в котором еще с довоенных лет существовал магазин «ТЖ» — магазин советской парфюмерии. Расшифровывалась эта скучная аббревиатура весьма просто — *Трест жирности*, а из чего, собственно, варятся все мыла и разные кремы? Магазин небольшой, элитный, есть и второй — такой же парадный, скорее для того, чтобы иностранцы не думали, что советские лыком шиты, а все как в Париже. Второй магазинчик располагался в дальнем крыле гостиницы «Москва», почти напротив станции метро «Охотный ряд».

Теперь представим себе бой спекулянтов в очереди за только что выброшенным французским парфюмом. В каком магазине? В том, который в деталях читатель лучше себе представляет. Бойцы за парфюмерию все друг друга знали, их знали продавщицы и администрация. Узок круг этих революционеров новой экономики. Брали столько, сколько хватало денег и сколько можно было унести в двух руках. Потом это все с многократной переплатой уходило, разъезжалось, расплывалось по провинции.

*Предприниматель* уже в наше время рассказывал: это были очень большие деньги, ставшие позже первоначальным капиталом. Размышлений о первоначальном капитале не последует. Следите за нашими олигархами.

**47.** В старые времена хороший роман — это плотный гобелен, лишь один квадратный метр которого опытный ткач мог плести и вязать на нем узелки целый год. Или персидский ковер, где шерстяные ниточки были так притрамбованы, что, как брезент, не пропускали ни ветра, ни воды. Но любой роман, когда время уходит, превращается лишь в цепь запомнимых эпизодов, из которых в сознании читателя и сплетается история. Придется ли писателю сочинить, как на ответственное место *Директора* выбрали героя? Выборы всегда случайны, но так ли уж случайно и выбрали? И помните, никогда не предлагайте кандидатом даже лучшего друга, всегда ошибетесь. Всё проверяется на мелочах, на деталях, скажем, когда надо собрать денег на кладбищенский памятник умершей помощнице. Все по-разному открывают бумажник. И часто бывший начальник — неохотнее всех.

**48.** Его шофер рассказывал писателю как confidentу, который его поймет. Шоферов за жизнь у писателя было несколько — поймет!

— Он бросил меня на дороге!

Правда, этот шофер Витя, Володя, Вася или даже некий Кузьма Макарович — какое значение здесь имеет имя? — тоже был хорошей птицей! Гонял как сумасшедший, и иногда от него пахло вчерашним весельем. Он мог также с утра подзарядиться каким-нибудь заковыристым порошком. Его остановил гаишник, «гаец», как их называет легендарный журналист Сергей Доренко, на выезде из дачного пригорода, где машины пластаются, как белье в корыте. То ли он, шофер директора, кого-то не пропустил, то ли кого-то обидно перегнал на высокой скорости. Конфликт. Здесь бы начальнику выйти из комфортабельного салона, поулыбаться или пострадать городского, даже поразговаривать с ним. Городовому всегда или скучно, или он раздражен, или ему не хватает на вечернее пиво и бутерброд. Городовые любят, когда по-приятельски, без криков и угроз с ними разговаривают большие начальники. Можно вынуть из собственного бумажника красненькую и задобрить принципиального командира порядка. Хотя бы попробовать разделить тревогу и своего шофера, и бравого стража дорог. Кто у начальника самый верный и преданный из челяди, знающий все его тайны? Шофер! Нет, он бросил своего самого верного слугу на дороге. Сел в проезжающую такси и уехал... Откуда взялась такая небрежная сановитость?

**49.** Для того чтобы что-то написать, надо сначала начать писать. Это тяжелое дело, мозаика плохо и непослушно складывается. Надо подбирать эпизо-

ды, как галстук к свежей рубашке. Вымыслы всегда ярче и точнее приземленного «так было». Необходимо приспособливать разные случаи из собственной и из чужих жизней. Идет или не идет эпизод? К лицу ли? Не выбивается ли из гаммы? Это тяжелый процесс. И все время надо думать о заполнении поля романа, о плотности текста. Иногда собственный быт автора еще не сложился, но уже надо размышлять о времени, о быте героя, о его духовном порядке, наконец, знать его подлинную биографию, чтобы потом сочинить иную. Чем там наш герой занимался в детстве? О чем мечтал? Каким образом хотел обойти своих товарищей? Надо сказать, что наш интеллигентный герой с детства знал свои некоторые недостатки.

**50.** Без символического детского «эпизода» не обходится ни один роман. Еще не будучи знакомыми с дедушкой психоанализа Фрейдом, романисты тщательно выписывали детские символические эпизоды. А что остается делать, если я не очень сведущ в начальной жизни своих героев? Значит, мне надо будет придумать что-то многозначительное. Придумать — дело нехитрое, но только надо помнить, что подмеченное долго живет и всегда выглядит подлинным, а вот умозрительное хиреет очень быстро. Если из собственного, то есть две малолетние кражи. Первая — это будущий писатель (ему не старше шести лет) вывинтил какую-то крошечную трубочку из трактора (в эвакуации с матерью в деревне) и трактор не могли завести, пока трубочка эта (наверное, это был элемент карбюратора) не нашлась. А ведь маленький герой знал, где она лежала. Второй эпизод — это опять детское воровство через забор деталей из цветных металлов. Но здесь все было не так бескорыстно. Эти детали, как медь, принимались в пунктах сбора вторсырья. Фишка здесь в том, что в случае уже этой кражи совесть замучила молодого героя, он снова перелез через забор и вернул. Кому из моих героев и какой из этих эпизодов подарить? За «трубочкой» пришлось ехать на склад в райцентр. В одном случае украл и молчал, в другом — украл и покаялся. Умеют ли они каяться? Как же эта трубочка до сих пор жжет у писателя сердце.

**51.** Возможно, к бесславию интеллигентного героя — это, правда, впереди — привело проклятие его шофера. Шофер слишком много знает. Это до поры до времени он молчит о том, что возит еще и жену начальника и что в пятницу увозит своего принцепала не до Казанского вокзала к переполненной электричке, а шпарит сто двадцать километров до его фамильного гнездовья — на дачу! Любой начальник видит себя хотя бы на ранг выше занимаемой должности. Если министр еще и капиталист, то он в пятницу на личном самолете улетает на уик-энд в собственное имение в Австрию. А вот еще не успевший собрать государственной дани не то что на личный самолет, а даже на планер начальник поменьше

отправляется на казенном автомобиле за пределы столичного региона. Ему кажется, что так положено, что так поступают все. Это в Америке начальников судят за использование в личной поездке во Флориду казенного самолета. Но видела же себя героиня бессмертного сатирического романа почти дочерью миллионера Вандербильдта. А кем видят себя мои герои, родившиеся далеко не в роскоши?

**52.** Конечно, *бывший* Директор (мы вводим новый мимолетный персонаж, вернее, лишь обозначаем) со страстью недоброжелательного крохобора наблюдает за каждым шагом своего сменщика. Что писать о предательстве бывших соратников, мгновенно переместивших свое восхищение, привязанность и любовь на новое административное светило! Да и предательство ли это, а не устоявшаяся форма общественной жизни? Интересно, так ли все происходит в волчьей стае, когда появляется новый вожак? Но хорошо, что хоть не загрызли. Всё можно, конечно, пережить, даже сочувствующие вздохи или сквозь зубы произнесенное приветствие. Главный хозяйственник, как первая одалиска в гареме, боясь отставки, уже ждал приказаний. Какая здесь могла бы быть сцена! Можно было бы закрутить: свой ли или купленный в эпоху перестройки был диплом о высшем образовании у этого хозяйственника? Подобострастие — это всегда сцена, но здесь лучше ее опустить. Для романиста упущенные возможности — это то, где не хватило таланта написать.

**53.** Иногда думаешь, не вытягивает ли из тебя каждое новое сочинение последние силы? И не грозит ли расправа над героями, которых ты наполовину взял из жизни, а наполовину придумал, расправой и над самим тобой? Литература — это всегда утрирование черт, преувеличения. Но есть же какие-то высшие силы, которые следят за справедливостью. Не бьет ли эхо твоей стрельбы по твоим собственным ушам? И, отнимая спокойствие и удовлетворение у своих героев, не отнимаешь ли ты его и у себя? Писатель — тяжелая и опасная профессия. Но что заставляет тебя до глубокой старости кого-то подзревать, искать справедливости и пытаться наказать виновного только потому, что сам не оказался таким же ловким, как он? Не зависть ли к тому, что сам не украл?

**54.** Ты не можешь уйти побежденным из этой жизни. В этом ты всегда похож на своих честолобых и подловатых героев. Ты всё, как и они, хочешь рассчитать. Даже собственные одинокие похороны. Но похороны часто обнажают для публики историю покойного, его быт, происхождение, образ жизни. Как много читается по лицам близких, когда за маской горя по покойному видно глухое раздражение от его завещания. Я иногда жалею, что нельзя, как в Древнем Риме, добровольно, а не под натиском судьбы сойти в иной мир в окружении домочадцев и

клиентов. А этим что, приподнять завесу над легендой и собственным крошечным мифом? Приподняться над таинством собственной смерти? Но так иногда хочется расписать все заранее и даже со стороны увидеть, как все случится. Не пишется, но справедливость зудит, поднимая, как болотную пену, еще и мстительность.

**55.** На дорогах дачного кооператива висят объявления для автомобилистов: «Осторожней! Не больше 5 километров! По этим дорогам ходят наши дети!» Сколько же преступлений совершалось во имя «наших детей»? Дети богатых родителей не желают, как их отцы и матери, начинать с нуля. Они уже требуют того, чего были лишены их родители: карманных денег, ранних квартир и хороших автомобилей. Вот родители и присасываются к «денежным потокам» бюджета или кооперативным, собранным с пенсионеров копейкам. Кооперативное собрание началось с двух драк. Наверное, трагическое это зрелище — драка стариков. Но какая для серии сцена! Дерутся за внуков! Чтобы они не знали ни в чем отказа! А проигранные и промотанные наследства? Мне кажется иногда: сидя на сучке раскидистого дуба, судьба только и делает, что ждет смерти вороватого деда или бабки, чтобы с невероятной скоростью и жестокостью рассчитаться с наследниками. Опять новый сюжет?

**56.** Нового не надо. Но как «впихнуть» так взволновавший меня другой сюжет? Сюжетами в наше время не разбрасываются, их копят, не рассказывают о них друзьям, их лелеют, прикидывая, как бы продать подороже. В молодости я бы написал здесь рассказ. Внук великого композитора с прицельным образованием правоведа продает квартиру деда вместе с дедовским роялем и эхом его музыки по углам квартиры. Нет, достаточно обеспеченный за счет авторских прав деда внук сначала квартиру продавать не хотел. Музей, музей! Кажется, покупателем стал знаменитый гламурный фотограф, так удачно придающий своим моделям шарм скрытого разврата. Что звучало больше в отказах внука продать квартиру: расчетливость опытного продавца или сентиментальность воспоминаний? Сцена между внуком, совсем не мальчиком, и фотографом, увы, давно не мальчиком, в хорошо оплачиваемом сериале могла бы стать очень выразительной. Может быть, кого-нибудь из моих героев сделать таким внуком? Мысль занятная, но можно ввести как дополнительную линию. Пусть будет посетитель библиотеки.

Но продолжаю. Два джентльмена в мрачноватой, почти мемориальной квартире, обставленной мебелью карельской березы и подсвеченной тусклым хрусталем драгоценных люстр, ведут вполне светский разговор об искусстве и цене за каждый квадратный метр в центре столицы. Будто старый прожженный дьявол соблазняет юного правоведа. Дьявол и нечистая сила — популярные герои телевизионного экра-

на, зритель это любит. Но юноша оказывается тверд как алмаз и вообще отказывается говорить на тему продажи. Память великого деда и святая к музыке любовь! Дьявол почти побежден и в мрачноватой композиторской передней надевает галоши.

Но сценарист здесь не выложил своего последнего козыря!

При прощании дьявол, вновь превращаясь в гламурного фотографа, оставляет на телефонном столике десять банковских стопок зеленых, как молодая листва, долларов: это залог, что через год или полгода юный правоведа не откажется поговорить по интересующему преисподнюю квартирному вопросу. И разве после такого жеста не будет продана квартира великого деда и мечта о музее? Как хлипкая молодежная стойкость!

**57.** Придут ли внуки на похороны или сначала бегом к нотариусу? Судьба обычно наказывает бойких отцов и дедов внуками и детьми. Оба моих сериала можно обогатить появлением сытого и уверенного потомства. Отцы и деды в конце жизни видят, как мужаают, наливаясь соком, счастливые продолжатели рода, думают, что в час их собственного угасания все остановится или, по крайней мере, долго будет существовать таким же, как было при их жизни. Потомству предстоит только присовокуплять. Банковские и биржевые дивиденды, земельные участки, зарубежные особняки или ученые степени да почетные артистические звания, фамильные портреты и кабинетные фотографии с размашистыми подписями корифеев! По-прежнему будут благоденствовать квартиры в домах еще сталинской постройки и громоздиться уже новые кирпичные хоромы за высокими заборами, задуманные как «родовые гнезда». Но как все быстро иногда нищает и разрушается. Какие квартиры продавались или менялись в престижных, увешанных по периметру мемориальными досками домах государственной знати! Какие совсем недавно прекрасно обставленные, а ныне разоренные спившимся потомством семейные гнездовья ждут новых хозяев? Вот они, темы романистики! Новая и новейшая знать!

**58.** Герой-интеллектуал, небольшой деятель нищего библиотечного дела, как волк, почуял добычу. Много ли ему было надо и хотелось ли? Как же мы любим законные пути отнятия чужого. Никакого воровства, но отжимать, где хотя бы есть видимость закона. Это прерогатива сеньора покупать себе коня и седло турецкой работы. Он в своем сознании уже распределил «потоки» и видел свободные, «законные» ручейки. Он! Он! Только он! И все это зависит от нескольких голосов избирателей, которые ничего не понимают в серьезной политике. Это как пассажир, многие годы едущий рядом с шофером и внимательно наблюдающий, как шофер крутит руль и нажимает педали. Ему кажется, что и он, пассажир, умеет не хуже. Какая грустная иллюзия. Но это уже о

будущем, после выборов. Это же надо привлечь к себе, ранее, казалось бы, нейтральному человеку, ненависть целого коллектива. Но сначала: кто и как считает? Пока молчи, молчи и таись. Как часто рецепты поступают нам от классиков!

**59.** Потомство очень щедро и независимо относится к прошлому. И разве для него сегодняшний день зависит от дня вчерашнего? Потому что нет дела до внутренних переживаний своих предков. Их, предков, задача — правильно составить завещание в пользу потомков. А что касается культурного слоя, накопившегося за жизнь, то это, как считает потомство, лишние хлопоты. Следите за некрологами! Стоит подойти в определенное время к металлическим бакам для мусора — я остерегаюсь просторечного слова «помойка» — и можно обнаружить много интересного. Здесь экспонаты почти для любого музея. От скромных районных до знаменитых на весь мир музеев больших городов. Книжки отсюда раньше украшали домашние интерьеры, а существовавший книжный дефицит свидетельствовал о «приобщенности» к элите. Сколько редчайших, часто антикварных томов можно обнаружить возле этих контейнеров и сколько памятных раритетов, якобы отживших вещей, которые готов проглотить любой антикварный магазин. Но потомкам кажется: все это пустые человеческие отходы. А ведь здесь можно отыскать автографы великих людей и удивительную переписку бабушек и дедушек, которая сама по себе уже готовый роман. Как возвышенно умели любить!

**60.** В жизни во время выборов появилась *Умная коза*. Еще одна, теперь уже героиня. Без героини второго плана не может существовать ни один телефильм.

Перед выборами *Умная коза* вспомнила, что достаточно всех временно работающих по договорам сотрудников, взятых на лето, по приказу сделать штатными работниками, снабдить их надлежащими инструкциями и — верный счет обеспечен. Новенькие будут благодарить работодателя! Технология? Никогда не доверяйте кадровикам, у которых внуки начинают делать карьеру даже в таком огромном учреждении, как большая Библиотека. Ради внуков ломались и царства. А уж запуганная скорым уходом на пенсию бабушка-кадровичка, у которой несчастный внук работает в отделе у Умной козы, пойдет на всё. Что ей стоит «по ошибке» вписать в список общего состава пяток временно работающих на договоре. Ах, ах, как много говорили о точности выборов, о том, что список избирателей с гербовой печатью заверен начальником отдела кадров! Но ведь всегда и навеки — кадры решают всё. Героини не получилось, тема Умной козы — пока еще не «раскаланный» эпизод. Опытный режиссер здесь накрутит целую серию с тайными аллюзиями на происходящее в городе или даже стране.

**61.** На то коза и Умная, чтобы всегда быть при самом большом начальстве. Есть такая порода энергичных русских женщин. Они всегда знают все ходы и выходы. В принципе, ведь скучно с просто красивыми женщинами. К красоте быстро привыкаешь, а ум неповторим, как всегда.

Умная коза — это тема на целый будущий роман. Но что со мною поделаешь, к старости я полюбил умных и деятельных престарелых красавиц. Как правило, умных женщин судьба наказывает одиночеством. Сколько же их было, этих умных, на моем веку! Как были патологически одиноки! И это счастье, если ушедший муж оставляет небольшое потомство. Мы всегда доказываем правоту своих юношеских романов. Это не ты выбрал меня и ошибся, а это я ошиблась, выбирая тебя, мальчика из дворовой или университетской команды! Дни одинокой и гордой женщины — это жерло, в которое уходит ее собственная жизнь. Не продолжаю, слишком близки прототипы!

**62.** Важно не начать давно вынашиваемый роман, а его дописать. Я уже говорил о зеркале, в которое лучше не смотреть, потому что оно точнее всего констатирует остаток сил. Но вредно смотреть и на свои руки, когда снимаешь пижаму. Кисти рук даже в своей тусклой худобе могут претендовать на некий аристократизм, который списывает многое. Но как нехороша и тонка кожа предплечий, как местами провисает мускулатура, потому что из-под кожи ушла сила. Как иногда я, старый штукляр и арабесник, шучу сам с собою: ничего не работает, кроме головы! Старый писатель — это назидание молодым честолюбцам, всем молодым, которые гонятся за утраченным временем вместо того, чтобы прожигать жизнь. Еда, сон... Ладно, умолкаю. Голова работает — надо писать. Кто сказал, что «не пишется»?

**63.** Не пишется, правда, большой, как столешница в деревенском доме, толстый и пухлый роман. Кому нужны нынче громоздкие рассуждения писателя о морали и пленительные пейзажи средней полосы? И герои разве рассуждают о жизни? Они нынче говорят только о прибыли и о том, как хорошо с их талантом и способностями можно жить за кордоном. Они давно уже перестали читать толстые и престижные книги, о которых лучше говорить, нежели их читать. Они жадно постигают только эсэмэски, в которые вкладываются чувства, желания и виды на дальнейшую жизнь. Им уже трудно сосредоточиться и сопоставить факты, рассыпанные по большому роману. И к чему обширная и длинная жизнь, когда кажется, что молодость и веселье вечны. Знаки — вот что хорошо и быстро заглатывается. Станет ли когда-нибудь литература похожей на автомобильную дорогу? Как хороши и выразительны на таком литературном шоссе дорожные знаки — «Познакомились»; знак — «Чувства»; «Совокупились»; «Разошлись»; знак — «Счастливая — несчастливая старость». Сю-

жет на фоне пролетающих вдоль шоссе пейзажей. «Совокупилась» на фоне ржаного поля, а «старость» — в виду замечательной усадьбы, как у Пугачевой и Галкина возле деревни Грязь. Символ всегда найдет своего героя. Но прощайте, литературные мечтания. Что там у нас дальше?

64. Что же в дальнейшем происходит в первом сериале? Не забыли? Кажется, наш любитель жизни, молодой миллионер, едет в Рим. Богатые могут съездить на три дня, прокатиться и прихватить «культурки». Ну что же, он вполне состоявшийся и обеспеченный человек — пусть себе едет. У него несколько машин, три или четыре квартиры в лучших, еще сталинской постройки домах. Я думаю, не под подушкой и не в стеклянной трехлитровой банке, а во вполне потаенном и респектабельном месте хранится его «золотой запас» в долларах и евро. Надо научиться радоваться чужому богатству, а не размышлять: как добыл, в какое время и кого обманул? Не зависть ли здесь, в этих подсчетах писателя, что в лихое время сам ничего не выдрал из государственных фондов или не отнял из уже отнятого другими? Зависть и честолюбие — хороший двигатель не только литературы, но и экономической жизни. Но в нем, в моем богатом герое, правда, есть некоторая провинциальная — я, наверное, об этом уже говорил — робость ребенка из бедной семьи. Он вежлив и тактичен, как полагается ребенку из поколения, которое вечно недоделало. Но вы заметили, это поколение, как правило, хорошо училось. Ах, и об этом я говорил? Может быть, это связано с тем, что ни так называемых гаджетов, ни телевизора еще не было, зато существовали школьная и районная библиотеки. При помощи слова «библиотека» я рифмую двух героев.

65. Каждому герою надо определить биографию и детство. И, ради бога, подальше, подальше от Москвы. В Москве хищники особого рода, как сказал бы Пушкин, — «без романтических затей». Ну что, для познавательного интереса разнесем их в разные стороны географии нашей необъятной совсем недавно, но сократившейся страны. Один, как уже говорилось, с томного юга, из Одессы. Другой — матерый сибиряк, с востока. Детство должно быть, конечно, бедное. У бедного детства больше взрослой злости и честолюбия. Сюда бы по эпизоду из детства *Директора* и детства *Предпринимателя*, но, кажется, только в китайской литературе осталось это медленное умение живописать чужую жизнь. *Директор* ведь, по сути, прост в сокровенных и честолюбивых желаниях казаться большим, чем он есть на самом деле, и крест на груди — это еще не признак святости, как партбилет не означал верности идеалам. Впрочем, *Директор* обладал и тем, и другим, но в свое время.

66. Мой пятидесятилетний герой едет в Рим не один. В нем уже нет той нахрапистости молодого самца, который, не задумываясь и особо не огляды-

ваясь, сразу душил встретившуюся в саванне жертву. Даже для знакомства ему нужен некий комфорт и пригожий случай. Это в бизнесе, я полагаю, он решителен и безжалостен, в жизни же робок и деликатен. Обычное поле его куртуазной деятельности — это транспорт. Я всегда думаю, зачем он ездит кататься три раза зимой на лыжах в Швейцарские Альпы? Чтобы отдышаться после столичного смога или чтобы знакомиться с молодыми искательницами? Бизнес, как и подлинное творчество, трудное дело. Это только обывателю кажется, что он может сочинить любую историю, которую сочинило телевидение, и руководить любой компанией. Ну что это за работа, подписывать бумаги!

В лыжный сезон в Альпы едет приблизительно одна по возрасту публика. Молодые, одинокие, но спортивные дамы спешат не только лихо уворачиваться на горных спусках. Спортивная одежда так молодит и украшает! А сосед по самолетному креслу, перед этим аэропорт, горный, до отеля, трансфер, внезапные встречи возле стойки портье, соскочившее с ботинка крепление — всё это такой оптимальный повод для флирта! И с той, и с другой стороны. Из некоторых своих поездок мой герой привозит новые знакомства.

67. — Когда я делаю ей предложение поехать со мной в Рим, она, конечно, понимает, что жить нам придется в одном номере. Я люблю Рим, и у меня здесь есть «моя» гостиница и «мой» ресторан, где меня узнают. Разве это не замечательно! Ну, конечно, на хорошей, экологически чистой и сытной еде за три дня я набираю полтора—два килограмма. В Москве — теннис, и я их спускаю. Но ведь и Рим — это Рим! Мы, конечно, ходим в музеи и ходим по улицам, по историческим местам. Она, конечно, если она на двадцать лет меня моложе, ждет и какого-то памятного сувенира.

— А она что, работница с фабрики?

— Да нет, вполне самостоятельная женщина, работает где-то в конторе или банке. Мы заходим в магазин. Она меряет платье, оно ей идет. Я за него, за платье, плачу. В другом магазине ей очень нравится сумка. Италия — страна не только бедняков, но и роскоши. Но сумка стоит полторы тысячи евро. Я говорю: это не укладывается в бюджет. Ей тут же нравится другая, я — покупаю.

68. Герой из Одессы у меня на глазах. Иногда я прихожу к нему в гости пить чай и изучать другой мир. Я его люблю и думаю, как обидно, что этот талантливый и энергичный человек реализовался не на своей платформе, а мог бы и блистать. Я даже фантазирую: мог бы стать ученым или инженером с мировым именем. С визитной карточкой, где золотыми буквами были бы выведены три строки должностей или даже, как говорят сегодня, «круче» — только имя и фамилия. Не требовала же фамилия Эйнштейн приписки «профессор» или фамилия

Пушкин — «писатель». Но премию «Поэт» Пушкину, как и Байрону, не давали. Премия «Поэт» у Кушнера и у Олеси Николаевой. Впрочем, у нее, по моему, все премии. Это большой талант — получать и справа, и слева.

69. Изменился ли *Директор* сразу после выборов или все-таки менялся постепенно? Он все еще продолжал, как принято у творческой интеллигенции, ходить в старых пиджаках, изображая богему, или сразу же переделался в свой серый с небесным отливом костюм, в котором он теперь всем и на всю жизнь запомнится? Другой сословный жанр. Нет, пожалуй, все изменилось почти немедленно, как в театре. Поворот сценического круга — и вместо пустыни цветущий сад. Он уже, проходя по коридорам или лестницам, не жмет к стенке или к перилам — идет, по-гвардейски развернув плечи, хозяин жизни, повелитель и царь. Здесь ему подчиняются все, и он может даже том музейного Бомарше отправить на реставрацию в дальнюю ссылку. А что он написал сам? Сочинение «О методах комплектации сельских библиотек». Это, пожалуй, в основной зал в витрину «Фундаментальные теоретические работы коллектива».

Никто не сказал бы, что он и раньше был особенно говорлив. Видимо, все-таки мечтая об этой роли и представляя себя в ней, он рано догадался, что основные черты большого начальника — скрытность, таинственность и молчаливость. В своем кабинете за плотными шторами он был не опознан, как мышь в своей норе. Что уж он в кабинете делал и как, обложившись бумагами, проводил время, никто не знал. Жизнь продолжалась, как и шла раньше, только ветшали стены, темнели постепенно запыляющиеся пылью окна, качались в книжных хранилищах стеллажи и упорно угрожала протечь старая крыша над главным корпусом. Никто бы даже не сказал, что он ждет обещанных перемен. Разве все не привыкли, что обещания начальника во время его выборов на демократической основе — это одно, а повседневная жизнь — другое?

Кабинет был его логовом, откуда он изредка появлялся, чтобы озадачивать народ своим видом начальника. Многие стали полагать, что втайне, повинаясь ведомым только ему одному предчувствиям, он готовился к следующему этапу карьеры. Если он уже стал *Директором*, то почему же, как надо повернувшись перед большим или даже самым главным начальником, не стать бы ему начальником Департамента в министерстве или даже министром? Кто ему поведал, что главным инструментом в игре в значительность были молчаливость и таинственность? Таинственность — его подруга.

70. Впрочем, у него была и некая реальная подруга еще по отделу — старая confidentка, с которой он работал еще до выборов. Она вожаденно глядела ему в рот. И раньше, когда была секретаршей отдела, никогда, даже под пыткой она не сказала бы, когда и

куда ее начальник ушел, когда придет, чем он в настоящее время занимается. Она свято хранила висевший на стуле его пиджак, который обозначал, что дух начальника присутствует где-то здесь. Это была высокая школа преданности старой интеллигентки, по инерции носящей дореволюционные кружевные воротнички. Но, пересев в затененный кабинет с плотными шторами, он взял до гроба преданную confidentку с собою в Дирекцию. Штаты должны быть стабильны! Там по штату находилась своя, прилепившаяся к месту еще с давних пор секретарша. Секретарша, но не доверенное лицо. По-прежнему только доверенному лицу, единственному в здании, разрешалось убирать в его кабинете. Только кружевному воротничку позволялось ворошить на столе бумаги, разглядывать записи в деловом календаре и вытирать пыль. Секретарша имела право только открыть дверь, но не переступить порог в отсутствие в кабинете хозяина. Да нет, я рисую гуманитарное учреждение, а не британскую МИ-6!

71. У нового директора в эту пору появилась престелстная, можно было бы сказать, еще не описанная в литературе привычка. На ней необходимо остановиться, потому что, как сцена с секретаршей, которой не разрешено входить в кабинет, и сцена с confidentкой, которая, надев тяжелые, со стажем очки, вглядывается в почерк своего любимца, сцена «молчания» в моем новом кино тоже может оказаться невероятно выразительной, как любая сцена из «Гамлета».

Когда он, вопреки своему обыкновению, разжимал свои невеселые, но румяные губы и что-то спрашивал, то, получив ответ, никогда не давал знать, как он этот ответ воспринимает. Он молчал и глядел прямо в глаза собеседнику, будто он был царь Николай Первый. Он молчал изматываяще долго, так что некоторые старые библиотекарши могли уронить каплю в свои штопаные штанишки. Так, наверное, во время психологических опытов устрашающе молчал знаменитый Вольф Мессинг. Правда, попадались сотрудники, но это в основном были не старушки, а бодрые молодые компьютерщики, которыми иногда удавалось перемолчать начальника. Но они — бесстыдники, ничего не имеющие за душой, кроме молодости. Тогда начальник стыдливо отводил глаза и покашливал. Кстати, по своей натуре он был, как выяснилось, удивительно незлобив...

72. Автор, постоянно моделируя своих персонажей, не может не задумываться и о себе. Искусство — мстительная штука, и несправедливость может эхом возвратиться к истоку. И здесь уже не отгородиться, как в трамвае, собственной старостью, чтобы молодой даме не уступать место. А интересна ли эта старость и позитивна ли? Наверняка можно сказать, что к ней, как к молодости, привыкаешь и она тоже начинает казаться бесконечной. Старостью в определенных обстоятельствах, как в молодости

собственной красотой и статью, даже можно гордиться и хвастаться перед такими же стариками. Или хвастать количеством уже прожитого: а ты попробуй столько! Или своей работоспособностью, тем, что еще ходишь без палки. Но все равно иногда возникают томительные минуты. Старость в пределах общей статистики продолжительности жизни по стране слишком часто напоминает о себе.

А все-таки интересно, в каком костюме положат меня в гроб? Как близкие и наследники отнесутся к выбору последней одежды? У автора есть три или четыре почти новых парадных костюма. И обычные, достаточно строгие, и что-то модельное. Шелковая ли будет рубашка или что-то попроще, из того, что на самом виду висит в платяном шкафу? Романтистка располагает к реальному рассмотрению жизни и поэтому позволяет даже жестокость. В первую очередь — к себе.

**73.** А может быть, пора успокоиться? На один роман больше, на один меньше. Что это прибавит к судьбе писателя, если фортуна сразу не вынесла его на гребень успеха, как выносила классиков? Все равно зыбкие тени и неясные облики его сочинений будут расплываться, эхо былого умолкать, и все наконец растает в печальной дымке. Живи просто, жуй летом персик, сиди на скамейке с другими стариками, играй в интернациональное домино. Какие отблески уходящего солнца на окнах хрущевских пятиэтажек! Наслаждайся! А из песочницы во дворе доносится лепет еще не рассованной бабушками по дачным участкам малышни. Принимай жизнь в ее простых и незамысловатых формах, и не надо рефлексий, не усложняй восприятие, не копи наблюдений. К чему они; все уже и так не только распределено, но и предопределено. Но впечатления копятся, собираются, и вдруг прорезается что-то молодое и славное. Не надо только разглядывать старые фотографии. Грустное это время, когда все свои фотографии рассматриваешь и точно датируешь только по одной детали: одно обручальное кольцо у тебя на безымянном пальце правой руки или два. Свет резко превратился в темень. Я недавно поймал себя на мысли, что, если бы можно было, как в банке, узнать, сколько тебе отпущено, а потом разделить пополам, одну свою половину отдать ей... Тогда бы вместе, как с утеса — в голубое и просторное море.

**74.** Особенно трудно ночами. За годы, конечно, уже привыкаешь к одиночеству. Зачем она ушла? И почему тогда, отхлынув, так прочно держит и не отпускает? Зачем приходит по ночам, двигает предметы, листает книги. Караулит новые грехи автора? Какое это было бы счастье — вдвоем дожить до преклонных годов! Сколько могли еще сказать друг другу. Может быть, и не пишется, потому что ее нет рядом? Все время ловлю себя на привычном: надо бы рассказать... Кому? На ночной шорох выхожу на кухню: никого нет. В ее комнате ее зеркало, ее книги

и сувениры, которые она привозила со всего мира. Но в это зеркало она когда-то гляделась, почему же не выплывает из серебряных глубин ее тень?

**75.** Иногда миллионер звонит своему соседу, с восьмого этажа на пятый. Мы, несмотря на многолетнее знакомство, на «вы». У миллионера, хотя есть приходящая прислуга, иногда не оказывается хлеба к ужину, или горчицы к дневному холодцу, или сметаны к борщу. Порой мы вместе пьем чай. Я подначаваю его по поводу его роскошных автомобилей, дескать, «не по чину», такое полагается не миллионеру, а лишь миллиардеру. Но у жизни какая-то иная справедливость.

**76.** Не по чину всегда живут и дети богатых. Иногда я вижу другую соседку, совсем еще молоденькую чью-то дочку. Она живет со своим мужем или бойфрендом в одной, как я предполагаю, из отцовских и материнских квартир и ездит на низкой спортивной машине. Я знаю и ее мать — роскошная, еще молодая женщина, всегда на огромных каблуках. Мать тоже бизнесмен, что-то в перестройку купила, перепродала, сейчас сдает в аренду и бережет капитал. Машины у нее тоже всегда новые и престижные. Статус надо поддерживать, и считается, чем круче машина, тем больше у владельца денег. Но мы о детях, следовательно, о дочке. Дочка тоже, как и отец и мать, закончила престижный вуз, только теперь в этот вуз берут и на платной основе. Родители пробились в жестокой конкуренции медалистов. Но, закончив, дочка так и не смогла устроиться на престижную работу. На престижной работе в банке или в крупной фирме требуется не диплом, а навыки, знания и невероятная усидчивость. Сейчас это называют компетенцией. Низкая спортивная и невероятно дорогая машина не помогает. Но когда в жаркую летнюю пору я встречаю какую-нибудь самоуверенную девушку на открытой дорогой машине, сначала всегда думаю, что это какой-нибудь невероятно талантливый и смелый экземпляр человеческой породы. Прорвалась! Ну почему в двадцать пять, в двадцать семь лет девушка не может быть генеральным директором фирмы или даже директором, а то и владельцем банка? Но чаще, уже потом, я полагаю: это мамы и папины дочки разбегаются с тайной мыслью, что кто-то примет их за директора банка или фирмы. Бедные папы и мамы! Скорее всего, их мечты по поводу детей не осуществляются. (Это рассуждение можно превратить в сцену, но тогда надо решить, чья эта дочь или сын — моего друга-миллионера, директора Библиотеки, какого-нибудь другого героя или просто горестно-завистливые наблюдения.) В мое время тоже хорошо было быть чьим-либо высокопоставленным сыном...

**77.** Главного героя всегда должны окружать события. Роман — это сборище всего, и в том числе разнообразных происшествий. Читатель должен учесть



ся на чужих примерах и познавать то, что еще не знает. Опыт — это великий двигатель литературы. Автор тоже учится у своих героев. О, если бы автор кое-что знал по прикладной экономике раньше, наверное, он на дачу ездил бы не в Калужскую область, а на Майорку или хотя бы в Жаворонки. Зададим загадку: а почему роман нельзя превратить еще и в некий учебник по бытовой практике? Любимая книга у автора в юности была — «Занимательная математика», которую очень ловко и талантливо написал Яков Перельман. Низкий поклон ему, научил математической рефлексии.

**78.** Роман — это в том числе рассуждения и мысли автора. В телевизионном сценарии лишь одно действие, без какой-нибудь лирики. Как теперь экономик или этику переложить в образную форму? Директор, конечно, далеко не дурак. Он даже выбил много миллионов на капитальный ремонт и реставрацию старинного здания. Но, прежде чем что-то реставрировать, надо создать проект. Строительство — это вечный сюжет в современных криминальных историях. Ну а дальше «вопросы из телевизора». Почему все проекты всегда выигрывает одна и та же компания? И чтобы отремонтировать водопровод, и чтобы шить шторы. Какой волшебник здесь ворожит? Или другая занимательная задача. Мы заключаем с некой особой, иногородней компанией, например, за 30 миллионов рублей договор на проект реставрации, а она, эта компания, почти в то же мгновение перезаключает его с другой компанией, но тут сумма в три раза меньше — 9 миллионов. Как так, а чья же здесь маржа? Маржу можно разделить между всеми участниками. Боже мой, но как все это прописать? В прозе на это потребуется несколько десятков страниц, кто-то из директоров фирм-проектантов окажется дальним родственником, тайным знакомым. Нужно будет отыскать тьму оправданий. Длинно, это не эпизод в сериале, а целая серия. Перельман эту бы задачку не решил, не те вводные. Но, опять, как был прав Сталин: руководить — это предвидеть. Как все это теперь переложить, превратить в нормальную телевизионную драматургию?

**79.** В старости всегда возникает зависть к более успешным. Особенно к молодым. Ах, в мои бы годы, да такие обстоятельства!.. В твои годы были другие обстоятельства. И угомонись, продолжай ездить на своей далеко не новенькой «Ниве-шевроле». Сейчас тебе изменяет все, даже подвластное ранее письмо. Копи и фиксируй приметы возраста. Миллионер, не выдающий себя, как остальные, за миллиардера, уверяет, что в твои годы приличные писатели уже перестали писать, сосредоточившись на прогулках и регулярном клистире. И не скули: «не пишется!» Не «парует» всегда безотказное воображение? Так подбивай один к одному факты, все-таки они ворожат в литературе. И что за манера быть вечно недовольным собой! Бери пример со своих отчаянных коллег,

которые, как куры, не успев снести яйцо, уже кудахчут на весь двор. А сколько претензий на величие, с каким апломбом закатывают себе юбилейные вечера, куда чуть ли не силой сгоняют челядь и хороших знакомых. С каким упорством рассылают во все премиальные комитеты свои нехитрые сочинения. Кто, интересно, составляет за них эти бесконечные анкеты, кто развозит экземпляры? Неужели сами или ретивые секретари и жены? А когда, собственно, они ваяют и шлифуют свои собственные тексты?

**80.** Как бы ты ни бодрился, смерть все-таки медленно подкрадывается. Может быть, главная задача человека — зафиксировать этапы. Рубашка с высоким воротником, конечно, чуть маскирует шею. Но что делать с ускользанием слов? Исчезают из ближней памяти в тот момент, когда нужны. Точное слово будто проваливается, и ты в разговоре тянешь паузу, ожидая, когда оно, как невинный, но набедакуливший мальчик, внезапно покажется в двери — наказание окончено. А главное, ты все время тревожно ждешь, что паузы неизбежно станут длиннее. Что-то происходит в твоих мозгах или в твоём сознании? Говорят, что животные чувствуют приближение непогоды. Что-то ты тоже, видимо, чувствуешь и сразу вместо точного, стремительного молодого высказывания пускаешься в боковое описание.

**81.** Езда на этой самой «Ниве» тоже постепенно становится иной, нежели раньше. С грустью в молодости ты смотрел, обгоняя, как плетется по шоссе и жметя к обочине старенький автомобильчик, и уже безошибочно знал: едет небритый пенсионер, двумя руками ухватившийся за руль. Что-то ты тоже перестал бесстрашно гонять, следишь за знаками, льнешь к спасительной обочине? В сознании, конечно, уже не раз прокатана картина: руки, сползшие с руля, голова, опустившаяся вниз, и радиатор, упершийся в придорожную березку. «Крепче за баранку держись, шофер!» Почему раньше можно было за половину дня дорунуть до Минска, а нынче через час уже поясницу сводит судорога? И плетешься, плетешься до своей старенькой дачки... Но старенькая дачка, как твоя жизнь, это тоже объект возможного изображения. Какого из двух моих героев обоих сериалов избразить мне на фоне сытой подмосковной зелени в атмосфере нового дворянства? Занятная может получиться картинка с дворней из шоферов и хозяйственников. Завхоз, жарящий источающий жертвенные ароматы шашлык, а?

**82.** Миллионер (сериал № 1) совсем недавно с одной из своих подружек летал на четыре дня в Ниццу. Рассказы были чудесные и очень поучительные. Господи, как я люблю рассказы бывалых людей! Море, роскошный город, на женщинах белые шорты и полотняные платья по цене, сопоставимой с королевскими мантиями. В четверг вылетели из Москвы, ночь в отеле, а в пятницу утром уже на яхте миллиар-

дера, по совместительству какого-то московского чиновника. Четыре каюты, повар, матрос, моторист, капитан, хлопки паруса при смене галса (это уже для звукорежиссера), вечерами со стаканами виски в шезлонгах на палубе. Вышитые на небе звезды. Через день снова в московский смог.

— А владелец яхты, это ваш знакомый?

— Да нет, моей подруги, может быть, даже ее родственник.

— Ну и как вы себя чувствовали в этой атмосфере?

— Как вошь в бане и в мыльной воде...

Вот поэтому и не берусь за длинные сочинения, не моя стихия и не мой уровень наблюдений. А для сериала — это попадание в десятку. Чем народ живет хуже, тем наряднее светская жизнь. В литературе же так: чем холоднее мансарда, тем выше градус письма. И не писал ли ты лучше и веселее, когда жил в однокомнатной хрущевке на Бескудниковском бульваре?

**83.** Старость, конечно, завистлива и слезлива, но это не только слабость глаз и сухость роговицы. Старость предательски жалостлива. Вдруг — к инвалиду, который на улице, сидя в своей коляске, просит подавание. Или к голубю с перебитой лапой, который ковыляет возле лужи на асфальте. К ребенку, который ревет, когда родители не купили ему мороженого. Хочется самому взять и купить! Выложить из бумажника последнее, а голубя положить за пазуху. А жалость к героям книги! А уж в кино старость просто готова лить слезы. Но попробуйте обидеть! В жизни, в быту старость абсолютно не сентиментальна, она расчетлива и мстительна. Когда еду в переполненном метро и вижу, как уютно сидящие мальчики и девочки отгораживаются своими телефонами или делают вид, что дремлют, ожидая своей остановки, начинаешь думать: больше на экзамене никогда и никого не пожалею.

**84.** Писать надо быстро, потому что время постоянно подбрасывает автору не только слишком новые, иногда ломающие весь уже сложившийся замысел детали, но и новые обиды. А что как не обиды формируют и авторскую злость, и новые эпизоды? Не пора ли включить еще одну, назидательную серию, что-нибудь о неблагодарных учениках или неблагодарных товарищах. Талантливые ученики, правда, всегда неблагодарны. Это учитель продолжает о них думать и следить за их судьбами, а ученики полагают, что все послал им Всевышний и только он складывал их талантливые судьбы. Талантливый ученик всегда предатель, и дело здесь не в твоей старости.

**85.** Томас Манн в речи на банкете по поводу собственного пятидесятилетия говорил, что его тянет к патологии. Меня — к справедливости. Может быть, за «справедливостью» опять зависть или элементарная злоба к более удачливому человеку? Так, может быть, надо восхищаться и *Директором*, и *Предприни-*

*мателем*? В этой же речи старый Томас, кажется, говорил о той страсти, с которой публика ищет в произведении писателя прототипы. Бедный Манн, нобелевский лауреат, каждый из его большой родни и многочисленных знакомых отыскал себя в знаменитом романе. А трагически обиженный писатель на это отвечает — везде только «Я», только прочувствованное и мною передуманное. И как это справедливо. Отвратительная часть биографии писателя именно в его произведениях. А в собственном воображении автор — уже давно и убийца, и вор, и некрофил, и извращенец, и карьерист, и взяточник, и многоженец, и миллионер-физик, и, неизменно, директор библиотеки! О, ненаписанное!.. Среди ненаписанного много еще и того, где автор просто струсил.

**86.** Надо ли любить и жалеть придуманных героев своих романов? Недавно в каком-то разговоре услышал о необыкновенном усердии наших налоговых органов. Они через доверенных людей могут предупредить предпринимателя: передайте, скажем, 50 миллионов, иначе приедем и найдем больше.

Приходят ли? Не знаю, кажется, в моем сериале пока этого не происходило, но моего героя-предпринимателя мне уже заранее жалко. Бедный интеллигент, который не стал физиком, а стал бизнесменом! Почему в стране нельзя совместить достаток с занятием любимым делом? Почему всегда хорошо оплачивается только плохая литература?

**87.** С каким удивительным и мстительным крохотворством подбирает заинтересованный автор детали! Сам не смог, не сумел, струсил, а теперь тычет всем в глаза. Честен лишь тот, кто еще не попался! А появится ли когда-нибудь в этом новом романе положительный герой? Признаемся снова, рискуя окончательно наскучить читателю, что положительный герой, плод искания советской литературы, пишется всегда труднее и мучительнее, чем герой отрицательный. Так что успокоимся, мировая литература вся забита отрицательными персонажами. Да и сам писатель, собирающий крохи со стола жизни, визионер и коварный соглядатай, готовый под жернова славы бросить и свою собственную любовь, и свои собственные воспоминания, — разве положительный герой? Если, читатель, зритель, слушатель, любишь ты все-таки творца, то, ради бога, не читай его, автора, даже не всегда лживых мемуаров и не копайся в его биографии. Что же нам запомнилось от первых новаций филолога, неожиданно ставшего начальником?

**88.** Герой даже в обычном романе рисуется в определенной, не только исторической, но и в бытовой атмосфере. Попробуйте короля написать вне замка или, для контраста, вне поля, где он, раздав все дочерям, — о, дети, дети, всегда или морально, или физически разрывовывающие родителей! — призывает ветры и бури. И попробуйте изобразить Григория

Мелехова без тихого Дона и казацкого хутора. Мой *Директор* — ученый человек, книжный, публичный, среда его социального обитания — старинное здание огромной публичной Библиотеки с хранилищами, просторными каталогами, читальными залами, гардеробами для посетителей и читателей и, собственно, персоналом. Исключительного, персонального лифта, как в Московском педагогическом университете у многолетнего ректора, еще не заведено, но у *Директора* Библиотеки есть собственный туалет, который он делит со своими замами. Однако мой ученый *Директор* помнит все-таки себя еще и простым библиотекарем.

**89.** Своих героев писатель не должен бросать ни на минуту. Пушкинская Татьяна, как известно, вышла замуж, а мало ли что может учудить герой без родительского присмотра писателя. Но жизнь, она всегда сильнее и занимательнее любых фантазий. Писатель никогда и не придумает того, чего не способен выдумать герой с его удивительными представлениями о жизни. Но ведь за каждым внешним событием какая-то внутренняя особенность или размышление. А так всегда хочется пробиться к материковому слою жизни и психики. Ну, допустим, что Станиславский прав и театр всегда начинается с вешалки. Но с чего начинается Библиотека? Или это нашептала директорской душе, не окрепшей от перемены статуса, служебная одалиска, суевившаяся с новым креслом и настольной лампой? Нет, чем больше я вдумываюсь в былое, тем значительнее былое в своих провидческих мелочах встает передо мною. Почему все видимые реформы в библиотеке начались с туалета? Но ведь и перестройка в России началась с того, что все общественные туалеты в столице вдруг стали платными. И не римский плебей, а римский император сказал: «Деньги не пахнут!» Но ведь и не благоухают?

**90.** Докопаться до психологии — это значит поставить себя на место героя. Но значительный возраст автора расширяет представления и о подлинно-живописном, и о возможном для изображения. Может быть, наш герой, только что назначенный *Директор*, представил себя на месте старых джентльменов, которые молча, сжигаемые неловкостью, долго и угрюмо стоят на шелохнувшись возле писсуара или жерла унитаза где-нибудь в театре или в парламенте, ожидая, когда закончится спазм? Где эта победная и могучая, а главное быстрая, как майская гроза, струя нашей юности? Слово «простата» еще бродит далеко от собственного лексикона. А может быть, это вообще профессорская болезнь? Туалет стал его первой хозяйственной заботой. Началась реконструкция. И нечего здесь стыдиться. В одном из романов Генриха Бёлля целая глава была посвящена дефекации и туалетной бумаге.

**91.** Повторюсь: обещанные на выборах в Библиотеке реформы начались с самого неожиданного — с

легкой перестройки общих в здании туалетов. Конечно, у *Директора*, повторяю, был собственный туалет, некий будуар поблизости от кабинета, даже положенный по чину. Не могу сказать, что там было очень уж парадно, но имелся полный набор необходимого. И собственный зев в преисподнюю, который поглощал отходы жизнедеятельности, и просторная раковина, и электрическая сушка для рук, и даже то, что никогда не мог получить рядовой читатель или библиотекарь, — туалетная бумага, первый признак избыточности человеческой цивилизации. Кажется, наличие этой лучшей, специально выпиваемой для будуара особо мягкой туалетной бумаги ежедневно проверял главный хозяйственник, он, кстати, это белоснежное сокровище лично и приносил. Но главное, будуар замыкался, как сейф, на хороший и бесшумный замок.

Собственно, сами туалеты «для всех» находились в подвале. Здесь не было никакой особой замысловатости. Здесь, скорее всего, соблюдался некий римский стиль, всегда отличавшийся определенной публичностью. Рядок, без запоров и замков, кабинок с дверками-недомерками такой скромной демократической высоты, что всегда можно было заглянуть и узнать: не занято ли гнездо?

Что послужило импульсом для только что назначенного *Директора* в первую очередь заняться не новыми поступлениями или светом в читальных залах, а именно тем, что аристократ Пушкин называл *сортиром*, так и останется неизвестным. Возможно, это общероссийская страсть к реформам, возможно, деликатная стыдливость, которую *Директор* ощущал, когда еще не был директором. Не очень-то ладно, когда ты сидишь «орлом» (образ напрокат взят у Ивана Бунина), а над тобою в самый вдохновенный момент появляется неумытая рожа перспективного историка или филолога. Но возможно, здесь был некий стыд, который может испытать каждый мужчина в солидном возрасте, когда из-за природных напластований моча начинает идти не так бойко и не сразу, когда и как этого хотелось бы. Бедный страдалец стоит, сутуля плечи, и ловит на себе обжигающие и нетерпеливые взгляды следующего в очереди: когда же ты закончишь, старый м...к! Кто подобное пережил, тот, конечно, сразу кидается чинить и реставрировать канализацию.

Итак, глухие, как на Лубянке, двери в кабинках туалета оказались первыми артефактами обещанных реформ.

**92.** Как иногда важно выстроить в романе эпизоды в верной последовательности. А если все-таки романист придерживается старого как мир правила: пиши о жизни, последовательность эпизодов характеризует добросовестность наблюдателя. Итак, двери туалета или новая машина? Напряжем хлипкую память: новая машина была позже. Да и что говорить о машине, когда она наравне с часами и авторучкой является показателем статуса начальника. Даже дети

начальников теперь норовят ездить не на «Ладе-калине». Что *Директор* сразу после реформы туалета купил новую машину, хотя вполне лихо бегала и старая, было понятно. Здесь буйствовали молодые ветры впервые доставшейся власти. Не компьютеры же менять в читальном зале! Но это возникло позже, когда бюджет потряс своим скупым кошельком. Ахнули все, когда чуть ли не на следующий день после назначения нового директора у привычной для всех старой библиотечной легковушки оказались затонированными стекла салона. Не машина, шутили старые библиотекари, помнившие еще чуть ли не сталинские времена и порядки, а «спецхран»!

Нет, скажите мне, зачем тонировать стекла у машины, которая возит с работы и на работу мелкого чиновника, изображающего, что он большой? Для кого изображает: для семьи, регулировщика на дороге или для самого себя?

**93.** Какие комплексы разрешаются и умирают в сознании чиновника, когда он едет в не очень старой, но с густо затененными стеклами машине? Сколько до этого раз он сам, видимо, пытался разглядеть, кто же именно мчится мимо него, тогда еще пешехода, в бронированных «Мерседесах» со стеклами, полными серого дыма! Как хотелось бы знать, первое это лицо, второе, третье или даже, на худой конец, пятнадцатое? А вот теперь он сам! И все гадают, что за начальник проносится как снежная метель. Министр, или замминистра, или один из заместителей самого верхнего божества? Вспоминал ли он в этот момент свое суровое, неприкажное детство и не очень удачную юность? В этот момент он всегда думал, что хорошо бы и за рулем его машины сидел совсем молодой и румяный человек в черном костюме, белой рубашке с галстуком и хорошо бы даже в форменной фуражке. Но шофер у *Директора* был старый, оставшийся от прежнего режима, вернее, немолодой, какой-то лимитчик с Украины, который каждый месяц отсылал свою зарплату на родину. И *Директор* сказать, чтобы тот носил белую рубашку и фуражку, никак не осмеливался. Деликатный человек.

**94.** Не пишется или записалось? А когда записалось, то вроде и горемычные мысли о скором конце собственного фильма как-то уходят из головы. Конечно, можно было бы (о, если бы ты, писатель, как в юности, располагал безбрежным лимитом времени!) настроичить большой и подробный роман. Ты бы, конечно, не стал разносить свой роман на клочки и фрагменты, а цепко схватился бы за один выходящий по времени, как плющ, сюжет. Сколько бы ленивая и воспитанная на телевидении молодежь ни говорила о фрагментах, смысловых пазлах и мозаиках, но классический и живущий века роман — это длинная, почти бесконечная, и, как правило, семейная, и наверняка любовная история. Но сердце иссу-

шено, да и откуда в наше время взяться любви? Но пусть будут хотя бы фрагменты, и один из них запал мне в сердце. А из чего, собственно, мы варим свой суп? Это Буратино и папа Карло мечтали о бараньей похлебке с чесноком. Романист, как правило, варит свой суп из кусков, отрываемых от собственной *плоти*. Боже мой, как же я не люблю это когда-то загадочное слово из Библии, ставшее теперь дежурным словом любого убогого сочинения, претендующего на светскость и эрудицию!

**95.** Теперь — в прерванную гуманитарным героем другую, физико-математическую серию. За мной, читатель! Герой, который начинал физиком, купил еще одну машину. Спортивную, невероятно красивую, но такую неудобную для городской езды. Пассажиру и «пилоту» приходится почти ложиться. Для того, чтобы встать, нужны или сильные и тренированные молодые коленки, или хороший толчок, поджопник. Можно, конечно, было бы сконструировать что-то вроде небольшого взрыва под собственной задницей. Но как тогда уберечь целостность штанов? Особенность этого мобильного аппарата был такая: когда едешь, то спиной и задом почти ощущаешь все трещины и выбоины в асфальте. Адекватный житейский смысл эта машина приобретает для простенькой публики лишь появлением на телевизионном экране со знаменитым футболистом или певцом за рулем. Для писателя, правда, хватило и его спортивного молодящегося соседа. Как круто! Немолодой герой-предприниматель уже, кажется, раздражен своей покупкой. Правда, как хорошо приехать на таком модном аппарате на вечеринку в загородный ресторан или на рублевскую дачу к кому-нибудь из друзей. Еще лучше к университетским однокашникам, уже давно ставшим профессорами. Подтекст такой: ты, конечно, замечательный физик или прекрасный профессор, у которого выучились многие успешные люди, но на чем ты едешь? На старой советской развалюхе, за руль которой и садиться-то стыдно. Ах, у тебя, кажется, казенная дача и сын олимпийский чемпион? Но сын-то живет в Штатах, а отец уже пятнадцать лет не снимает своего академического потершегося пиджака. Такое, конечно, похлеще вавилонской клинописи и расшифровывается сложнее, но на то все они и ученые, чтобы разгадывать подтексты и решать несложные задачи.

**96.** В конце концов, наши личные успехи — это не стремление доказать что-нибудь вечности, а лишь сказать своему товарищу по парте или университету: я удачливее тебя! А теперь завидуй, мучайся, комплексуй! Рассказывай, бедолага, собственной жене, что ты все-таки лучший. У счастливого одноклассника только потому новенькая машина, что у него блат и министерские знакомства. А ты очень честный и принципиальный! Или что он, в отличие от тебя, удачно женился, пренебрег собственной любовью и выбрал карьеру. Очень действенный и актуаль-

ный для семейной жизни пассаж. В день такого признания можно во время обеда получить мозговую косточку в источающем жар борще, а потом уже и почти позабытое, почти студенческое блаженство в супружеской постели!

**97.** Как же писатель не любит садиться за письменный стол, даже если впереди ждет немедленный аванс за сценарий для телевидения. Сколько находит различных предлогов, чтобы отсрочить эту каторгу, чтобы мысли и персонажи, молотящие кулаком по мозгам, не торопились воплотиться в какие-то слова. Слов, конечно, много, но быстрота не всегда залог таланта. В занудливом ожидании своей очереди у персонажей что-то отсыхает, а общая картина не становится емче. Впрочем, в этой интеллектуальной толкучке «на выходе» возникают иногда и новые детали. Помучить собственного героя ожиданием — это тоже немалое удовольствие. А у писателя есть еще возможность в последнюю минуту что-то изменить в характере или оценке своего героя.

**98.** Сценарий кинофильма, как уже было сказано, отличается от романа. В романе надо очень точно все формулировать, в фильме можно недостающее показать картинкой. И картинка иногда бывает зловещей, иногда ворожащей. Но есть закон: начинать нужно с географии, зритель всегда должен знать, где все происходит. Писателю еще раньше следовало бы прочертить географию Библиотеки. Нижний этаж, на котором находились конференц-зал, приемная и кабинет директора, и верхний этаж, где располагались отделы. Чтобы из кабинета директора попасть на второй этаж, надо было дойти по нижнему коридору до лестницы и, поднявшись по ней, пройти другим коридором в обратном направлении. Отдельчик текущей библиографии, где раньше сидел *Директор*, помещался как раз на втором этаже в конце коридора. Все эти коридоры, двигаясь, как говорится, по карьерной лестнице, *Директор* прошел, как осторожный лис. Он пробирался по стеночке, смущенно и заискивающе улыбаясь не только каждому встретившемуся на пути сотруднику, но и каждой закрытой двери. Это был мучительный труд, но зато даже проницательная Умная коза считала его своим и компанейским парнем. Теперь сотрудники старались сделать все, чтобы не только не встретиться с ним в этом коридоре, но и не столкнуться во дворе. Он излучал какую-то своеобразную мстительную леденящую силу. Будто все были виноваты в том, что двадцать лет он просидел в крошечном закутке с завернутым в серебряную фольгу еще советским кипятильником.

**99.** Писатель, конечно, не хочет творить из своего героя мелкого и неожиданного проходимца, дорвавшегося до власти. Не спуская с него глаз, писатель сразу обнаружил, как быстро у того возникло ощущение собственной безнаказанности. Не мог, конечно,

тот обойти себя сомнительным заработком, каким-нибудь мелким и неотчетливым совместительством, но замах был значительнее. Это только Сталин мог отказаться от гонорара, чтобы эти деньги ушли на премию его имени. Он же, конечно, и своим коллегам при власти приказал ничего не требовать за доклады и статьи, написанные, так сказать, по должности, и если наш герой что-нибудь и совмещал, вопреки обычаю и правилам, то не будем строго судить. Предшественник, правда, отметим, не совмещал.

Без достаточных оснований вписать себя в круг избранных, в круг элиты! Разумеется, быть президентом или даже средним премьер-министром, о котором завтра забудут, это совсем не то, что стать директором пусть даже и знаменитой в прошлом библиотеки. Тут шанс оказаться даже в энциклопедии. Сначала чувство хозяина и вершителя судеб. Кабинет, начальственное молчание, перестройки туалетов, непроницаемое выражение лица. Но была и модная идеологическая составляющая. Каждый посвоему идет за подлостью времени.

Новый директор решил переоформить зал, где обычно проходили совещания коллектива и торжественные мероприятия. В простенках раньше стояли гипсовые бюсты разных Шолоховых, Фадеевых, Алексеев Толстых и Горьких, уже сыгравших свою роль и в литературе, и как символы прежней эпохи. Какая прекрасная, а главное, современная идея заменить прежних идолов на более актуальные и сегодняшнему духу близкие бюсты русских царей. И чего же, скажет молодой читатель, здесь плохого? В романе можно было бы написать еще и сон, как этот пролетарий Горький и бывший крестьянин Ломоносов задали трепку новому администратору. В кино — лишь прочеркнуть быструю панораму, во время которой русские цари презрительно отворачиваются от пришедшего получать комплименты *Директора*. Но это для читателя постарше. Возможно, уже совершив эту победительную ретираду, *Директор* и решился выдвинуть свою кандидатуру в академики. А разве не деяние?

**100.** Теперь, когда все движется к финалу, еще один эпизод в сериал о моем молодом герое. Писатель, о каком бы времени он ни писал, всегда идет за временем и за жизнью. Мой молодой герой-предприниматель расходится с последней дамой его горячего сердца. Кажется, именно с ней он ездил в Рим. Теперь она ему поднадоела. Летом, когда дама вместе со своей дочкой ездил в отпуск, он поливал маленький садик при маленьком домике на престижном Рублевском шоссе. Рублевка — это престижно, и земля под домиком стоит немислимых денег. Я даже думаю, что моему герою нравилось вечерами, когда стихал автомобильный поток, садиться в свой модный и горячий «Порше», вернее, даже не садиться, а ложиться, хотя и неудобно, но роскошно, и мчаться поливать грядки. Тишина, божественная прохлада Подмосковья, свежесть только что по-

литой листы. Утром, правда, приходилось возвращаться домой.

С чего у них стали портиться отношения? С того, что она ему надоела, или с того, что выяснилось: престижный домик, и садик, и земля под ними не совсем ее собственность и за них надо еще платить и платить. Ах, эта мельком сказанная женщиной фраза: «А не поможешь ли ты мне с ипотекой?»

С жадностью писатель выпрашивал у героя сериала, а как это произошло, какие формулы использованы при этом расставании? Наконец, произошел ли разрыв при очном свидании или, что современнее, по телефону? Мобильный телефон дает возможность расстаться в любую минуту.

Выглядело поначалу все довольно пристойно. Началось с предложения пойти поужинать в ресторан. На прогнившем Западе это вполне традиционная форма проведения свободного времени. Но мой герой в разговоре вдруг, повинувшись неясному инстинкту новизны, сказал: «Возьми с собою подругу» — мой герой уже давно выбрал из подруг своей метрессы молодую даму поумнее, имя было названо — «и пойдемте, посидим где-нибудь вечером». За подругу все и зацепилось. Потом героем сериала были сказаны роковые слова, что пора прекратить исчерпавшие себя отношения. Но лучше бы эти слова не были произнесены. «Предатель» и «говнюк» было самое слабое из того, что произнесла женщина, рассчитывавшая на помощь в ипотеке. Коронной стала фраза, что ты, дескать, «Двести раз меня “употребил”, а вот теперь...» «Ну, и что дальше?» — стал вникать писатель, потому что интересовался возможностями языка. Но мой герой, оказывается, пошел не по пути формы, а, так сказать, взялся за смысл. «Какие здесь двести раз! Я как выпускник мехмата МГУ всё могу немедленно подсчитать. Мы полгода знакомы, на месяц я с сыном уезжал на море в Турцию, с тобою виделся через день... Ну, в лучшем случае сто! И ста раз не было!» Как близко от любви коварство!

**101.** Каждый, конечно, понимает, что значит трудная минута, когда надо спасать в первую очередь себя. Она, наверное, случается у всех. Но, как утверждают японцы, надо сохранять лицо при любых обстоятельствах. У моего молодого героя из сериала номер один уже закончился его последний роман и начинается новый, а я все мусолю старого *Директора*. Это книжный «роман» требует мягких переходов, а в телевидении можно резко, без напылов, просто и смело сменить сцену.

Дело обычное — в законе прописано: государственный служащий может находиться на своем посту до возраста в 65 лет. Есть, видимо, высокая магия в том, чтобы состоять начальником. Да и внедрение в элиту так пока еще и не состоялось. Что здесь главное — машина, секретарь, подобострастные взгляды или все-таки страсть начатого и творимого дела? Если дело, то где оно у *Директора* было запряжено? Если привычка к затененным стеклам машины, испуг в

глазах окружающих, перестройка туалетов, битые бюсты классиков, тогда все становится на место. Но кто ожидал от васильковых глаз и почтенных сединок такого страстного сопротивления даже закону! Почему-то *Директор* решил, что противодействует ему не этот самый закон, не высшие над ним административные силы, боящиеся представления прокуратуры за неисполнения установлений, а кто-то из недр, из служащих Библиотеки. Кто своим письмом или устным заявлением оживил в памяти его начальства злополучные даты и цифры? О, боевое всевластие анонимных писем! Кто?

**102.** Какие сцены можно было бы снять! *Директор* в коридоре или между книжными стеллажами вдруг не выдерживал внутреннего напора и подходил к кому-нибудь свежеподозреваемому. Ни слова не говоря, долго буравил взглядом лицо. Будто административная смерть нависла над человеком: кто?

Потом отходил, кружил, как птица над полем битвы, и приближал свои очи к следующему испытуемому. Иногда говорил коронную многозначительную и угрожающую фразу: «Бог рассудит и накажет виновного!» Но это говорил и уже *бывший Директор*, когда на следующий день после достижения рокового рубежа героя административного сериала оттащили от должности, сняли, отодвинули, снова перевели в отшельник. О, восхитительный Молох нашей жизни — Конституция и Закон!

По слухам, уже был назначен новый директор, его уже как бы и ждали, а прежний все еще на что-то надеялся. Административный ужас, постоянно нагнетаемый прежним директором, сплетаясь, вдруг превратился в подлый обывательский слухок: а не тронулся ли умом высокочтимый бывший начальник?

Но это был лишь первый акт человеческой драмы. Шекспир, это, бесспорно, — твой сюжет!

**103.** У каждого государственного закона всегда есть некое либеральное исключение и волшебная формула, крушащая любой закон: «в порядке исключения». Но здесь необходимо пояснение. Это в порядке исключения надо сначала изобрести, а потом найти рычаг, чтобы воплотить в соответствующий приказ. Заледенев от страха, Библиотека наблюдала и разведывала, кого попросит Директор, сметливый в административных играх, отсрочить собственный уход. Все уже знали, Директор принял административный бой. Даже Умная коза затаила дыхание, потому что не знала, как лучше: к старой власти уже приновились, а какова будет новая? Потом наверху, в самом верхнем административном аппарате, поразились: сколько же поступало звонков, писем и ходатайств! Хоровод просьб! Никогда столько не получали!

Можно, конечно, снять для телевизионного сериала заключительную сцену этого «волнительного» эпизода. В затененном кабинете интеллигентный Директор, обложившись сотовыми телефонами, об-

званивает доступных вельмож. Унижается, лебезит, просит, льстит, якобы шутит, говорит о пользе дела и своей незаменимости. Намекает, взывает к административной логике, к государственному долгу. Просит звонка наверх, просит ходатайств от имени коллективов, от имени общественных организаций, от имени государственных и религиозных сообществ, просит высокопоставленных пенсионеров, участников войны, инвалидов детства и знаменитых спортсменов и артистов. Пальцы неумоимо перебирают кнопки телефонов. Абоненты выписаны на отдельной продолговатой бумажке, на листе А-4, сложенном вдвое. Отзвонив, ставит «галочки». Лоб покрыт мелкой испариной. Сурово глядят со стен затененного кабинета лики святых и лица безбожников.

Как же ему хотелось получить это маленькое «исключение»? Семь лет ездил на затененном автомобиле, не стал академиком, еще чуть-чуть, еще чуточку, и всё получится, всё состоится. Но срок не продлили. Уже поползли слухи: Директор, дескать, просил за него походатайствовать не только кого-то из Синода, но даже банщика, который раз в неделю исто-во стегал березовым веником нужного министра.

**104.** Невероятно трудно написать следующую сцену. Но еще труднее будет ее снять на камеру. Карьера закончилась, щеголеватый фельдгегерь принес запечатанное сургучными печатями письмо с приказом об отставке. Немолодому герою можно было бы, спрятав в карман самолюбие, тихо, скромно и благодарно улыбаясь, попытаться с авансцены. По аналогии с театром знаю, как трудно актеру с амплуа героя переходить на роли благородных отцов. Можно было сразу, всех поблагодарив, вернуться к себе в прежний крошечный кабинетик, прихватив подаренную к юбилею настольную лампу, и ждать сменщика. Можно было захватить с собою и другие цацки, которые всегда копятыся, если начальник долго сидит на одном месте. Но бес уже протиснулся через двойные двери директорского кабинета, а может быть, и влетел в форточку и шепнул: не сдавайся, борись!

**105.** Он самоотверженно боролся, еще целую неделю. Ни одна душа целую неделю не знала, что было написано в приказе из засургученного пакета. А в приказе утверждалось, что директора уже нет и власть передается временно-исполняющему, заму бывшего директора. Естественно, временно, пока Библиотека не выберет себе нового. О том, что подводная лодка уже давно на дне, не знал никто. Надежд на спасение отставного капитана не было никаких, но сигналы из глубины все шли. Телефонные звонки, звонки надежды, раздавались в разных кабинетах. Письма и ходатайства еще летели, но летчик уже был сбит, утка давно стала хромой. Что он, интересно, говорил? Как пересиливал свою собственную, возникшую на административных высотах гордость? Какой холод и мрак леденил его сердце? А роковой приказ лежал почти на сердце — в бо-

ковом кармане скромного серого пиджака. Какие импульсы посылал? И что хотел исправить или скрыть за те несколько месяцев дополнительной власти, которые просил капитан со dna у начальников и судьбы? На что надеялся? На то, что рассосется? Как все-таки силен духом русский человек. Ведь через неделю сам признался, сам вынул из кармана роковой приказ, объявил и о собственной отставке, и о новом начальнике и только потом понес в крошечную комнату подаренную лампу. Такие у человека отчаянные переживания, а у тебя, *записыватель* и биограф чужих несчастий, видите ли, только старческое: «не пишется»!

**106.** Иногда буквально пронзает понимание тщетности усилий. Ведь живу в придуманном иллюзорном мире. Что мне, спрашивается, Гекуба? И что лично мне плохого сделал этот уже навсегда отхлынувший командир? И, спрашивается, зачем лезу в личную жизнь своего почти друга и соседа? Тоже, можно сказать, придуманного. Так придуманного или реального? И можно ли что-то в литературе придумать, не имея в дальнем видении прототипа. Такой возраст, что пора решить вопрос с бессмертием собственной души, а не выколачивать сомнительные смыслы из компьютера. Иногда содрогаешься от бессмысленности прожитых дней. Зачем и куда они улетели? Сколько их источено о бумагу. Появилась ли в результате этого насилия над бумагой огромная собственность? Есть ли скопленные богатства? Что ожидает? В лучшем случае — быстрая и внезапная смерть от, как раньше говорили, разрыва сердца на дороге от метро к дому. А если полубезумный старик, обмотанный мокрыми памперсами, и дом для престарелых за 1000 или 1200 рублей в день? Это только в живописи XIX века умирали, подняв к небу глаза, старики, окруженные многочисленным и пристойно скорбящим потомством.

**107.** Часто возникает ощущение, что творчество — это пресловутая «шагреновая кожа». Каждый раз, когда ты используешь природный дар, соединяешь и скручиваешь слова, когда понимаешь, что перебираешь их в злобе и ненависти, шкурка уменьшается в размере. Пиши всем понятное и со счастливым концом! Прославляй, наслаждайся и собирай средиземноморские или, на худой конец, грузинские лавры! Нет, надо тебе собственные перста погрузить в чужое гноище. И не отговаривайся, что отрицательный герой легче и выразительнее на письме, тебе надо еще прислониться к чужой боли. Не собственная ли совесть грызет тебя постоянно? Профессия как у палача, ночью отмаливающего свои грехи. Писатель всегда суеверен, боится судьбы и ждет любых несчастий!

**108.** В том же сюжете, изображая стыдливую потерю должности, надо бы писателю нарисовать предательство ставших *бывшими* соратников. Как мгно-



венно они переместили свое восхищение, привязанность и любовь на свежий объект пламенной любви и новое административное светило! Да и предательство ли это, повторюсь, а не устоявшаяся форма общественной жизни? Всё можно, конечно, пережить, даже сочувствующие вздохи или сквозь зубы произнесенное приветствие. Главный хозяйственник, боясь собственной отставки, уже ждет свежих указаний, держа в зубах приветственную розу. Изобрази все это, и душа больше не будет болеть невысказанным!

**109.** Но разве писатель может что-то изобразить без подвоха или выверта? Вот и сейчас писателю уже видятся, словно пастораль при дворе Людовика XIV, юбилейные торжества уважаемого *Директора*. Да нет, не сакраментальная дата, когда пришлось эвакуироваться из кресла, к которому привык. Это эпизод из начала внезапной карьеры. По идее, его надо бы ставить рядом с эпизодом о сортире и дверях в кабинках, но если ты пишешь подобие синопсиса для телевизионного сериала, то главное — написать, опытный режиссер сам потом поставит эпизод на нужное место. Вспомнилась эта история, а если вспомнилась, то зачем ей пропадать. Тем более, огромный, один из самых престижных в городе, зал, освещенная сцена, приветственный плакат и даже экран, на котором демонстрировались детские фотографии героя. Всё, как у Киркорова или президента нефтяной компании.

Происходящее я, конечно, опишу позднее, но пока такая мысль. Ведь только что прошли его выборы и «инаугурация», еще ничего не сделано, кажется, даже двери в туалетах еще были старые, так что же он думал, когда закатывал себе такое празднество? Он что, губернатор? Или знаменитый писатель? Конечно, 60 лет — дата серьезная, но надо было думать, как будешь встречать и свои семьдесят! Кстати, в этом, специально снятом за библиотечный бюджет, зале обычно самые знаменитые люди и отмечали свои юбилеи. Так что же думал он? От радости в зобу дыханье сперло, и решил, что и он стал теперь великим и знаменитым? А может быть, подумал, что если знаменитый зал, то и народ пойдет валом, чтобы поглазеть на лепнину?

Господи, этот зал тревожной медлительностью, как шлюз, этот зал наполнился! Основную часть, конечно, составляли сотрудники, жалкие библиотечарши в ветхих белых кофточках, brave хозяйственники и культурные смежники, которым некуда было деваться. Жидковато, но зал наполнился! На первых рядах сидели люди, вооруженные приветственными адресами и подарками, приобретенными за счет местного бюджета, а потом, на следующих рядах, уже библиотечная челядь.

Так что, выкладывать технологию по полной? Боже, как невероятно скучно все это писать! По разным инстанциям, за два или три месяца до скучнейшей ассамблеи рассылались письма. Сейчас по знаменитой радиостанции иногда звучит: «Первые поздравляют первых!» Но первым надо быть или стать!

И что, надо цитировать все эти почти под копирку написанные приветственные адреса? В конце концов, в каждом даже губернском правительственном учреждении есть с десятков шаблонов. Вот так эти юбилейные приветствия пишутся. Конечно, всегда есть административный восторг и самоспровоцированная любовь к собственному начальнику. Начальника, конечно, лучше любить, так безопаснее. Но ведь и старые библиотечарши понимали, кто *мыслитель*, а кто просто удачливый администратор! А главное — праздничный фуршет был нищенски бедный!

**110.** Нет, до 115 главков надо мой «увраж» дотянуть! То, что мы называем «не стихами», должно иметь некоторый простор в объеме. Но только куда делся первоначальный порыв? Скукожилось даже чувство справедливости, которое вело вначале. А на мелком презрении далеко не уедешь. Литература требует страсти, а тут такой ничтожный герой, что невольно думаешь: зачем же его размазывать, как манную кашу по тарелке? Но времена, как известно, не выбирают... Это все вид со стороны, а ведь есть еще и гамбургский счет собственной жизни. Он-то сам подводит свои итоги, наверное, по-другому. Здесь и вдруг купленная от внезапно нахлынувших чувств московская квартира. Ах, какое это счастье — выбраться из звенящего электричками Подмоскovie! Но еще, кажется, и новая жилплощадь на болгарском берегу Черного моря. А кому запрещено все это иметь? Здесь нужна более точная разработка сценариста, даже по эпизодам. Можно придумать что-нибудь на счет родни. Взять на работу дочь какого-нибудь начальника, а в ответ устроить свою взрослую дочь. В наше время уже никто не стреляется, если даже его застанут за заимствованием из общей кассы в невероятной любви к себе. Не все факты доказуемы, да за многие никто из безразличности и не берется.

**111.** Каким недугом наградить мне нашего *Директора* после того, как его сняли с должности? Ну, зачем такое точное следование библейскому и литературному канону. Сколько мерзавцев и подлецов, талантливо взобравшихся на вершину горы, умирали или продолжали жить, совершенно не затронутые дланью, которую менее удачливые, называемые простым народом, легкомысленно именовали *справедливостью*. Нет никакой в мире справедливости и никогда не существовало. Справедливость — это мечта неудачников. И все-таки слишком уж психически хлипкок был наш герой. Потом он говорил, что что-то случилось с сердечком. Ах, так ли?.. Но пока он жив-здоров и продолжает свое уже мелкое администрирование. С кого берет пример? С телевидения? В него стоит вглядываться, как в зеркало.

**112.** Писатель стал бояться домового лифта — в узкой кабине впаянное в металл зеркало и от него не увернешься. Обязательно себя увидишь. Смотришь как на постороннего человека, иногда не узнаешь.

**Генеральный****директор**

Олег Болдырев

**Художественный****редактор**

Татьяна Погудина

**Цветоделение****и компьютерная****верстка**

Александр Муравенко

**Заведующая****распространением**

Ирина Бродянская

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

Россия, 123007, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 2 000 экз.

Уч.-изд. л. 8,0.

Заказ № 5778-2017

**Адрес редакции:**

Россия,

107078, Москва,

Новая Басманная, д. 19

**Телефоны**

редакции:

8(499) 261-84-61

отдела распространения:

8(499) 261-95-87

**Факс:**

8(499) 261-49-29

**E-mail:**

roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Сайт:**

www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

Уже не думаешь, как ты выглядишь, и мыслей, что надо бы постричь усы и подровнять затылок, уже нет. Мысль, без кокетства, одна, рациональная и холодная. Пытаешься представить себя лежащим в цветах. Не поспеют ли на цветы коллеги. Знаешь, что мертвые выглядят не так, как выглядели живыми. Но как все-таки? Лишь бы благопристойно.

**113.** Но ведь еще надо и дотягивать. Знание и опыт, конечно, не прибавляют спокойствия, уже насмотрелся за жизнь такого!.. Конечно, не дай мне бог сойти с ума, но в наше время случаются у стариков бытовые ситуации, которые еще подлее и хуже. Часто с некоторой приязнью думаешь о небогоугодном деле, определяемом иностранным словечком «эвтанизация». Здесь и боязнь нарушить предопределение, Его волю, и подлая человеческая гордыня: ловко уйти от унижения, которое, наверное, тоже дается за грехи. А может быть, пролежни, нечистая постель и безумный взгляд — это некоторое предварительное искупление, данное как благодать?.. И все-таки сам, сам, бросив последний взгляд на уходящий мир и призывая этот мир к любви.

**114.** Последний уход, конечно, сильно упростился. Электрическое пламя и вытяжная труба демократизировали процесс, но еще остались мраморная или гранитная плита, ниша в колумбарии, хлопоты с надписью. А в нише и так все полно. Писателю, боюсь, кажется, что глиняные колбы будут стоять, как кувшины с молоком на сельском базаре. Но писатель еще должен позаботиться о собственном мифе. Кажется, не зря в одном из абзацев повествования промелькнул маленький мальчик, отвинтивший от трактора медную трубочку. Прошло три четверти века, а перед глазами и та зимняя деревня, и сад прадеда, который был срублен зимой сорок первого года на дрова, и деревенская изба, и осеннее поле, полное жесткой стерни, уходящее за горизонт. Кто из моих друзей или учеников мог бы привезти в эти места небольшую коробочку и, открыв ее, позволил бы ветру выесть оттуда последнюю пыль?.. Подошло бы, конечно, и сельское кладбище, но его нет, запахали, правда, запахали и деревню... Какой символический кадр в фильм о писателе!

**115.** И мелкий символизм тоже надоел — надо заканчивать сочинение на какой-то жизненной и реалистической ноте. Реализм все-таки несокрушимое явление в литературе. Что там, кстати, у нас с сериалами, которые все-таки продолжает писать старый писатель? Да, пожалуй, закончил. Эпизоды расставит по местам при монтаже режиссер, а герои, слава богу, живы, здоровы и, кажется, счастливы. Герой, который моложе, расстался со своей последней страстью и сейчас в процессе смены караула. Конец любви — это всегда конец истории. Но ради чувства справедливости следует привести еще один эпизод в сериал номер один. Конечно, страшновато вставлять личный, да еще абсолютно «документальный» эпизод рядом со сплошь вымышленными, но что поделаешь — аргумент плохих литераторов и дилетантов от литературы — так было!

До этого с *Предпринимателем* мы были почти не знакомы, разве только перекидывались парой слов, когда гуляли с собаками, да иногда, случалось, ехали в одном лифте на разные этажи. Но потом произошло то, что перевернуло мой мир и одновременно заставило по-другому смотреть на людей, которых я заранее считал людьми не своего круга. Это произошло на следующий день, когда умерла та, с которой я и сейчас готов разделить надвое то, что еще по Божьему Промыслу осталось прожить мне. Слухи разносятся мгновенно. Утром раздался звонок в дверь. На пороге стоял *Предприниматель* с пачкой денег в руках. Деньги тогда стоили дорого. «Вам, наверное, сейчас нужно?» Деньги тогда нужны не были, но всегда нужно сочувствие, которое дается, «как нам дается благодать...».

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Мемуары сорокалетнего ..... | 1  |
| Не пишется.....             | 39 |

Начало см. на 2 стр. обложки.

не поможет, они перестанут существовать, — сказал он. — Творческие союзы нуждаются в законодательном обеспечении. Причём вопрос этот не терпит отлагательства. Наконец, статус российского писателя. Профессия «литератор» должна вернуться в правовое поле».

На открытие выставки были приглашены не только многочисленные писатели, авторы «РГ», но и блистательная когорта лучших российских художников-иллюстраторов, сотрудничающих еще и с «Детской Романгазетой», которая выходит ежемесячно уже более двадцати лет.

В дискуссии, развернувшейся у журнальных стендов (а здесь были и довоенные выпуски, в том числе шолоховский «Тихий Дон») обсуждались издательские проекты. Редакция готовится к 150-летию А. М. Горького. Он был главным инициатором создания массового народного журнала, а потом неоднократно оказывал ему поддержку на государственном уровне.

В редакционном портфеле наряду с лучшими новинками сегодняшней прозы, полная версия «Белой гвардии» Михаила Булгакова, перевод романа «Гордость моего отца» знаменитого французского писателя Марселя Памьюля (восстанавливается традиция публиковать в «РГ» зарубежных авторов), а также немало произведений талантливых, но еще не известных широкому читателю авторов России и стран СНГ.



Заслуженный художник РФ Александр Дудин



Юрий Козлов, Елена Русакова и Олег Болдырев



Олег Болдырев, Ирина Бродянская, Елена Шевцова и Нина Морозова



Екатерина Рощина с художницами Ольгой Ионайтис и Еленой Устиновой



